

Ш О Л И Н А

ДАШКОВА

Такм



Полина Дашкова
Пакт

«После победы над Россией надо поручить управление страной Сталину, конечно, при германской гегемонии. Он лучше, чем кто-либо другой, способен справиться с русскими».

***Адольф Гитлер (из застольных
разговоров)***

Глава первая

На Пресне прозвенел последний трамвай, потом где-то за оградой парка хриплый шальной тенор запел «Марусечку».

– Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душенька, – пение прерывалось пьяным хохотом, визгом, затихало, звучало вновь.

– Моя Марусечка, а жить так хочется, я весь горю, тра-ля-ля, будь моей женой, – подхватил Крылов комическим басом.

Маша стянула зубами варежку, поправила выбившуюся из-под шапочки прядь, раскинула руки и, мягко оттолкнувшись, закрутилась на правой ноге, сначала медленно, потом быстрее. Лед приятно шуршал под коньком, мелькали фонари, деревья, рваное кружево веток. Крупные снежинки щекотно таяли на лице. Она впервые решилась крутить фуэте на коньках, и получалось неплохо, даже, пожалуй, хорошо, настолько хорошо, что она почти забыла о Крылове. Ей стало казаться, что она одна на пустом катке Краснопресненского парка под темным московским небом середины января 1937 года.

Крылов, продолжая петь, разогнался на своих новеньких норвежских гагах, описал круг, подлетел к Маше так резко, что едва не сшиб ее на лед, но удержал, обхватил руками, приподнял носом край шапочки над ухом и прошептал:

– Ну, Марусечка, ты будешь моей женой?

Она вздрогнула и подумала: «Только не ври себе, что не ждала и не хотела этого больше всего на свете».

– Двадцать восемь, – пробормотала она и слизнула с губ снежинки.

– Что?

В призрачном фонарном свете его узкие карие глаза казались совершенно черными, матовыми, без блеска.

– Двадцать восемь фуэте, – спокойно объяснила Маша. – Если бы не вы, получилось бы больше. Лепешинская крутит без остановки шестьдесят четыре.

– Стахановские рекорды в балете, – он усмехнулся.

«Пошутил, конечно, пошутил, – решила Маша, – всего лишь повторил слова глупой песенки».

– Я не шучу, – он стиснул ее, стал целовать мокрое от снега лицо, быстро, жадно, как голодная птица клюет зерно.

Голоса за оградой затихли. Между чернильными тучами мелькнул жемчужный лунный диск. Совсем близко проехал автомобиль, глухо зацокали копыта конной милиции.

– Ничего больше говорить не буду, ты сама чувствуешь, как я тебя... Нет, глупости, не нужно, слова только все портят.

Крылов был такой горячий, что Маше стало жарко. А потом опять зазнобило. С ним, правда, не требовалось никаких слов, он видел ее насквозь, читал ее мысли.

– Мне пора домой, – прошептала она. – У меня завтра в девять репетиция. Пустите.

– Поцелуемся на брудершафт, перейдем на «ты».

– Хорошо, я попробую. Ты... Нет, Илья Петрович, я пока не могу.

– Почему?

– Не знаю. Не могу, и все.

– А замуж за меня выйдешь?

Маша не успела ответить, он опять зажал ей рот долгим поцелуем.

– Грохнемся сейчас на лед, – пробормотала она, оторвавшись от его губ. – Вы так целуетесь, как будто...

– Что?

– Как будто специально учились.

– Учился, да, много тренировался, чтобы не оплошать, когда встречу тебя.

– Вы бабник?

– Еще какой! Разве не видно?

Она уже ни о чем не думала, не боялась упасть. В голове у нее упрямо звучали слова Карла Рихардовича: «Это неплохой вариант, Машенька, во всяком случае, надежный».

Карл Рихардович Штерн, сосед, старый мудрый доктор, отлично разбирался в людях, Крылова знал давно и еще месяц назад намекнул Маше, что таинственный Крылов положил на нее глаз.

Он приходил к Карлу Рихардовичу довольно часто, иногда они вместе отправлялись куда-то, иногда сидели долго в комнате старика. С Машей Крылов приветливо здоровался, встречаясь в коридоре. Однажды столкнулись рано утром на кухне. Крылов по-хозяйски заваривал чай и нарезал сыр у столика Карла Рихардовича.

– Маша, позавтракаете с нами? – спросил он и тут же поставил на поднос третий стакан в тяжелом подстаканнике.

Никого, кроме них троих, в квартире не было. Отец Маши уехал в очередную командировку в Сибирь, на строительство авиационного завода. Мама дежурила сутки в больнице. Младший брат Вася ушел в школу, не забыв слопать все, что оставалось в буфете.

– Спасибо, я обычно завтракаю в театре, – сказала Маша.

– Да, я знаю, вас там неплохо кормят, – кивнул Крылов. – Но сегодня можно сделать исключение.

Он почти не смотрел на нее, когда разговаривал, но тут вдруг взглянул прямо в глаза. Под его взглядом Маше почему-то захотелось плакать. Именно тогда, за чинным завтраком в комнате Карла Рихардовича, она поняла: таинственный Крылов испытывает к ней вполне нормальные мужские чувства. Это ошеломило и напугало ее.

Его военная выправка бросалась в глаза так же, как ее балетная осанка и походка. Но в форме она его никогда не видела. Пальто или плащ, пиджак, изредка джемпер. Никаких галифе, гимнастеров, сапог и портупей.

Однажды она решилась спросить Карла Рихардовича, где служит Крылов. Старик выразительно поднял глаза к потолку, потом

отрицательно помотал головой и слегка улыбнулся.

Не сказав ни слова, доктор Штерн умудрился кое-что объяснить: таинственный Крылов занимает высокую, сверхсекретную должность, но не в органах. Нет, не в органах.

Она облегченно вздохнула. Если бы он там служил, она ни за что не пошла бы с ним ночью на каток.

– Видишь ли, у меня очень мало свободного времени, его практически совсем нет. Играть в так называемые брачные игры мне некогда, к тому же я не лось и не павлин. Единственная возможность познакомиться со мной поближе – выйти замуж за меня.

Они подъехали к скамейке у ограды, Маша села, вытянула ноги, смотрела на Крылова снизу вверх и думала: «В сущности, совершенно чужой человек, но меня к нему тянет очень сильно. Никогда ни к кому так не тянуло. От двадцати восьми фуэте голова не закружилась, а теперь все плывет. Вдруг у него это минутный порыв, утром одумается, захочет взять свои слова обратно?»

Крылов опустил на корточки, заглянул под скамейку и тихо присвистнул:

– Вот здорово! Сперли!

– Что?

– Обувку нашу сперли.

– Ой, мамочки, новые ботинки, теплые, удобные, а других-то нет, – всполошилась Маша. – Как же теперь быть? Ночь, трамваи уже не ходят.

– Придется ковылять на коньках.

– До Мещанской далеко ужасно, я могу упасть, ногу подвернуть.

– Буду держать тебя крепко, со мной не упадешь, не бойся. Доберемся.

Его бодрый голос и улыбка сразу успокоили Машу. «Что я хнычу? Конечно, доберемся!»

Она загадала: если в ближайшие полчаса еще раз поцелует, значит, все серьезно и это ее судьба.

Ворота парка были заперты. Коньки пришлось снять, кинуть наружу через прутья ограды. Крылов перелез первым, стоя на снегу в носках, поймал Машу на руки, прежде чем опустить на землю, поцеловал в губы таким долгим, замысловатым поцелуем, что Маша почти лишилась сознания, провалилась на несколько мгновений в жаркий пульсирующий мрак, а когда открыла глаза, мир вокруг стал другим, совершенно незнакомым.

По тротуару, покрытому коркой льда, передвигаться на коньках было вовсе не сложно. Маша казалась себе удивительно легкой, невесомой, почти прозрачной. Хотелось сохранить, не растерять это новое ощущение, принести завтра в репетиционный зал и танцевать так, как никогда еще не танцевала.

Улицы были пустынные, спокойные. Маша с веселым удивлением заметила, что почти забыла о новых ботинках, а ведь раньше из-за такой ерунды могла бы рыдать сутки. Папе удалось достать через распределитель отличные импортные ботиночки, мягкие, на каучуковой танкетке, на цигейковой подкладке. Теперь вот нет ботиночек, и в чем ходить остаток зимы, неизвестно.

На площади у витрины большого универмага стояла молчаливая толпа, клубился пар, люди были в тулупах, в валенках, некоторые в ватных одеялах. Они приезжали из провинции, занимали очереди с вечера, писали чернильным карандашом номера на ладонях.

Маше стало жаль их. Что у них в головах? Отрезы ситца, пальтовый драп, будильники, галоши, кальсоны, фуфайки. Не понимают, как прекрасна и загадочна жизнь, тонут в своих обыденных серых заботах. Бедные, неуклюжие, некрасивые люди. И тут же мелькнула злая мыслишка: «Может, именно эти, из очереди, и сперли нашу обувь?»

У магазина обычно дежурила малая часть. Остальные прятались по дворам, грелись в подъездах. Как только открывался магазин, толпа валила, лезла по головам. Люди дрались, давили друг друга, калечили, иногда затапывали насмерть. Маша знала, в этих очередях томятся не только честные труженики. Барыг и жуликов

полно. Папа говорил, что у человека, который честно работает, нет ни сил, ни времени стоять в очередях ночами. Правда, ведь невозможно представить в такой очереди папу, маму, Карла Рихардовича или вот Крылова.

Маша взглянула на него, почувствовала сквозь варежку тепло и надежность его руки. Ей стало стыдно. О чем она думает? Какие-то совсем ничтожные, бабьи мыслишки лезут в голову, портят эту сказочную ночь, может, самую счастливую в ее жизни.

Очередь вдруг заволновалась, рассыпалась, люди побежали. Совсем близко послышался цокот копыт. Через минуту у витрины не осталось ни души. По площади медленно прогарцевали три конных милиционера.

«Ага, значит, опять вышел указ бороться с очередями, – догадалась Маша. – Ну и правильно. Они все сметают в московских магазинах, потом спекулируют, жулье несчастное. Вот из-за таких бездельников и получается дефицит».

И снова зашуршали мыслишки о ботинках, следом, как тараканы, полезли другие, совсем уж мерзкие: о комсомольском собрании в театре, на котором... Нет, вот об этом вовсе не стоило думать.

У Маши имелось старое проверенное лекарство от гадких мыслей и дурных снов. Короткие стихи, три-четыре строчки. Она никогда их не записывала, никому не читала. Собственно, стихами это назвать нельзя было, она их даже не сочиняла, они сами выпрыгивали непонятно откуда.

Ах, как хочется жить понарошку,
чтоб тебя, беззащитную крошку,
кто-то за руку вел в темноте.

Маше захотелось повторить это вслух, но к «темноте» не нашлось рифмы и стишок получился совсем хилый, как неоперившийся

птенец.

Крылов окликнул милиционеров, они остановились, нехотя развернули лошадей. Маша осталась стоять, Крылов приблизился к первому всаднику, о чем-то поговорил с ним. Милиционер почтительно козырнул.

Маша с детства мечтала проехать верхом по ночной Москве и не поверила такому счастью. Крылов подсадил ее. Она, стараясь не поранить бока лошади коньками, обхватила широкую, в овчинном тулупе, милицейскую спину. Крылов взобрался на другую лошадь. Маша поглядывала на него, впервые про себя вдруг назвала его по имени: Илья, Илюша – и тут же решила, что теперь сумеет перейти с ним на «ты».

Пахло снегом, овчиной, лошадь, мимо плыли, покачивались в ритме легкой рысцы знакомые улицы, дома с темными окнами. Люди спали и представить не могли, как прекрасна эта ночь. «Вот теперь я точно знаю, что он любит меня, потому что я его люблю, – думала Маша. – И как это раньше я жила без него? Конечно, мы поженимся, иначе я просто умру».

До Мещанской доехали быстро, слишком быстро. Милиционеры козырнули на прощание.

Возле подъезда стоял небольшой крытый грузовик. Маша застыла, рубашка под свитером мгновенно стала мокрой, и все внутри задрожало. Во двор выходили два окна их комнаты на четвертом этаже. Она зажмурилась, прежде чем открыть глаза, досчитала до десяти.

– Нет, не к вам, не бойся, – прошептал Крылов.

Светились два окна на пятом.

– Не к нам, – эхом отозвалась Маша, – к Ведерниковым.

Илья мягко потянул ее в сторону, к заснеженным кустам у забора. Там было совсем темно. Маша без слов поняла: лучше пока не входить в подъезд, переждать, когда выведут и увезут.

– Ты их знаешь? – спросил Илья.

– Конечно. Петр Яковлевич, инженер-транспортник, Наталья Игоревна, в издательстве «Детгиз» редактор, Соня на втором курсе в Политехническом. Там еще бабушка Лидия Тихоновна, больная, парализованная, – быстро, на одном дыхании, прошептала Маша. – И добавила чуть слышно: – За что?

– Никогда не задавай этого вопроса, – Илья обнял ее, сжал так сильно, что Маша чуть не задохнулась. – Никому, даже самой себе, не задавай этого вопроса.

– Почему?

– Потому! Все, молчи.

Заурчал мотор «воронка», мужской голос вполне мирно, сонно произнес:

– Давай, давай, не задерживайся.

В тусклом свете фонаря над подъездом Маша разглядела несколько силуэтов, узнала сутулую грузную фигуру верхнего соседа Петра Яковлевича. Он остановился, повернулся. Лицо казалось размытым белым пятном, очки блеснули, рот открылся. Его подтолкнули к машине. Он неловко взобрался в кузов. И тут двор пронзил жуткий крик:

– Папа! – Из подъезда выскочила Соня, растрепанная, в халате поверх ночной рубашки, в тапках, бросилась по снегу к кузову.

– Не дергайся! – прошептал Маше на ухо Крылов.

– Отпустите папу, пожалуйста! Он ответственный работник, коммунист! За что? Отпустите! Папочка!

Никто не обратил на Соню внимания, словно она была бесплотной тенью. Два темных силуэта запрыгнули в грузовик вслед за Петром Яковлевичем, один забрался в кабину, хлопнул дверцей. Свет фар осветил сугробы, деревянную горку в глубине двора, мертвые черные окна соседних домов. Мотор взревел, «ворон» выехал на Мещанскую.

Соня Ведерникова стояла у подъезда, не шевелилась. Ветер трепал полы байкового халата. Маша попыталась высвободиться из рук Крылова, но он не пустил.

– Надо проводить ее домой! – упрямо забормотала Маша. – Она замерзнет, простудится.

– Не подходи к ней.

Соня сгорбилась, стала такой же сутулой, как ее папа, медленно развернулась, открыла дверь, исчезла в подъезде.

– И не вздумай подниматься к ним, – шептал Маше на ухо Крылов.

– В прошлое воскресенье был день рождения бабушки, Лидии Тихоновны, я заходила поздравить, мы вместе пили чай, они хорошие, честные люди. Петр Яковлевич воевал в гражданскую, Лидия Тихоновна большевичка с дореволюционным стажем, Ленина знала еще в эмиграции, Наталья Игоревна секретарь парткома, Соня общественница, активная комсомолка...

Крылов прервал Машино бормотание очередным поцелуем, потом взял ее под локоть, они на своих коньках заковыляли к подъезду.

Маша отчетливо вспомнила воскресное чаепитие у Ведерниковых. Бабушку усадили в кресло, как раз под портретом Сталина. На столе сушки, конфеты «Герои полюса», жидкий чай в стаканах. Маша принесла подарок старухе, патефонную пластинку с «Лунной сонатой», но все не могла вручить. Семья молча застыла за столом. По радио передавали доклад товарища Кагановича. Только когда доклад кончился и заиграла музыка, стали пить чай, грызть сушки. Маша поздравила старуху, чмокнула в сморщенную мягкую щеку, и в голове вдруг запрыгал нежданный, незванный стишок:

Вот они едят и пьют,
а потом их всех убьют.

Он выскочил как черт из табакерки, и Маша тогда ужасно разозлилась на себя. Теперь стало совсем страшно, получалось, она своим дурацким стишком как будто накликала беду.

– Ты поняла меня? – спросил Илья, когда поднялись наконец на четвертый этаж. – Ты не знаешь и никогда не знала этих Ведерниковых.

Голос Крылова показался чужим, наждачно жестким. Маша звякнула ключами, нарочно громко, чтобы не слышать его слов, но, конечно, услышала и подумала: «Ужасные слова, жестокие, несправедливые. Как он может?»

Стоило открыть дверь квартиры, сразу стало легко, спокойно. Уютная сонная тишина, родные запахи. От маминого пальто пахло «Красной Москвой», из кладовки тянуло нафталином, из кухни эвкалиптом и чабрецом. Карл Рихардович каждый вечер заваривал травяные чаи. Из ванной комнаты доносился чудесный аромат туалетного мыла «Мимоза». Папа получил в распределителе три куска. Этот новый качественный сорт мыла оценивали члены Политбюро в полном составе, нюхали, обсуждали ингредиенты. На съезде стахановцев товарищ Микоян говорил в своем выступлении, что для товарища Сталина нет мелочей. Товарищ Сталин должен знать, что едят, во что одеваются, чем мылятся трудящиеся массы. Папа был делегатом и вот удостоился, получил, кроме продуктов, ботинок, шерстяного отреза, еще и мыло, понюханное товарищем Сталиным лично. Вряд ли стали бы папу так щедро одаривать, если бы в чем-то подозревали и собирались арестовать.

«Почему мне это сразу в голову не пришло?» – сонно подумала Маша.

Илья остался ночевать у Карла Рихардовича. Они с Машей поцеловались в коридоре, пожелали друг другу спокойной ночи. Маша быстро умылась, почистила зубы, прошмыгнула к себе.

Семья занимала одну большую комнату, разделенную на две фанерной перегородкой. Маша поцеловала спящих родителей. Папа похрапывал, не проснулся. Мама, не открывая глаз, пробормотала:

– Так поздно... Мы волновались.

Мгновенно возник в голове очередной стишок:

Проезжай своей дорогой,
«ворон», лютая беда,
маму с папой ты не трогай,
черный «ворон», никогда.

Брат в темноте сел на кровати, громко произнес:

– Машка!

– Тихо, тихо, спи.

– Сплю! – Вася улегся, завертелся, заскрипел пружинами.

В окно смотрела ослепительная ледяная луна. Маша залезла под одеяло, подумала, что Петра Яковлевича обязательно отпустят, разберутся и отпустят, он вернется домой, и опять семейство Ведерниковых будет пить чай с карамелью под портретом Сталина. Она перевернулась на другой бок и стала думать об Илье, вспоминать каждое его слово, дыхание, шепот, поцелуи, иней на ветках, шорох коньков, свои двадцать восемь фуэте на льду.

– Спокойной ночи, – пробормотала она сквозь долгий зевок, обращаясь к луне. – Он очень сильно меня любит, потому что я его люблю, как никто никого никогда на свете.

* * *

Карл Рихардович ничуть не удивился, обнаружив утром за ширмой на диване спящего Илью. Диван был короток, Илья спал, неудобно поджав ноги, одетый, в брюках и в джемпере. Под головой сплюснутая, как блин, подушка-думка. Доктор тронул его плечо:

– Илья, десятый час, вставай.

Крылов мгновенно открыл глаза, сел.

– А? Доброе утро. Удивительно сладко тут у вас спится, доктор, – он пружинисто спрыгнул на пол, стянул через голову джемпер

вместе с рубашкой, остался в голубой майке.

Невысокий, крепкий, широкоплечий, он излучал живое здоровое тепло, спокойную уверенность. Лицо с правильными чертами, большим лбом, твердой линией рта имело удивительную особенность. Его можно было видеть каждый день и не узнать, случайно встретив в толпе. Лицо Крылова мгновенно ускользало из памяти, смывалось бесследно, как рисунок на песке. Небольшие карие глаза под темными широкими бровями смотрели открыто, доброжелательно, глядя в них, невозможно было заподозрить какую-то заднюю мысль, подвох, ложь.

Доктор давно догадался, в чем секрет. В психологии есть такое понятие – эмпатия. На бытовом уровне – это способность к сопереживанию. Обычный человек сочувствует другому, если тому плохо, больно. Но настоящая эмпатия предполагает вовсе не сочувствие, а глубокое, бесстрастное проникновение в чужую душу. Илья был гением эмпатии, он мог полностью переключаться на собеседника, растворяться в нем, думать, как он, дышать в унисон, мягко, незаметно повторять характерные жесты, мимику, обороты речи.

«Зеркалить» собеседника – древний психологический трюк, известный гадалкам и шпионам. Для этого достаточно обладать наблюдательностью и средними актерскими способностями. Илья никогда не «зеркалил» нарочно. Он проникал в чужую душу и считывал чужое «я», не только реальное, но и иллюзорное, без грехов, ошибок, недостатков. Попадая в поле эмпатии, собеседник Ильи видел себя-мечту, это ослепляло, притупляло бдительность, действовало почти наркотически.

Загадочный механизм эмпатии включался, лишь когда Илья имел дело с опасными, неприятными ему людьми. Защитная реакция, особая форма мимикрии. Если бы Илья не умел так виртуозно мимикрировать, его бы давно уничтожили. Но если бы механизм работал постоянно, Илья умер бы от отравления чужими, чуждыми

чувствами и мыслями. Чтобы выжить, сохранить собственную личность, нужно иногда расслабляться.

Илья мог расслабиться и стать собой только с теми, кому доверял, а таких людей было крайне мало. Мать, Настасья Федоровна, простая полуграмотная женщина. Доктор Штерн. Теперь, наверное, Маша, и все.

– Позавтракать успеешь? Или сразу бегом на службу? – спросил Карл Рихардович.

Илья сделал несколько наклонов вперед, назад.

– Гимнастика, душ, завтрак – все успею. Я, видите ли, неделю ночами не спал, работал, честно заслужил право поспать утром подольше. Сегодня мне дозволено явиться к половине двенадцатого. Времени полно, только вам придется одолжить мне какую-нибудь обувь, нашу сперли, пока мы катались, – он открыл пошире форточку, крикнул, упал животом на коврик, принялся отжиматься.

Карл Рихардович отправился в ванную. В квартире было тихо. Соседи давно ушли. Взрослые на работу, Вася в школу, Маша в театр. Ему стало жаль, что он не увидел девочку с утра. Хотелось бы угадать по ее лицу, до чего они там, на катке, договорились ночью с Ильей. Доктор не сомневался, что поступил правильно, когда... как бы это помягче выразиться? Немного поспособствовал тому, чтобы их отношения развивались стремительнее.

Илья в свои тридцать лет перебивался случайными барышнями. Такие приключения, конечно, разогревали молодое мужское тело, но душу морозили. Илье не везло. Барышни, с которыми его сталкивала судьба, были вырезаны по единому трафарету. Комсомолки с повадками советских киногероинь, звонкоголосые жеманные куклы, вдохновенные стукачки. Гремучая смесь советской идеологии с бабьей глупостью.

Маша – совсем другое дело. Доктор был убежден: Илье нужна настоящая, живая любовь, иначе заледенеет, погибнет. А Маше нужна защита, иначе сожрут ее, такую красивую, чистую девочку. Девятнадцать лет, кордебалет Большого театра. Сколько клубится

возле юных балеринок похотливой мрази – чекистской, цекистской, наркомовской – представить жутко. Вряд ли посмеют приблизиться к жене товарища Крылова.

«Эй, ты, старый сводник, не рано ли поженил их?» – спросил себя доктор и тут же самому себе ответил: «Ничего не рано, куда они друг от друга денутся?»

Закрыв дверь на крючок, Карл Рихардович подкрутил огонек газовой горелки, приблизил лицо к зеркалу над раковиной. Губы еще улыбались, глаза щурились, но улыбка все больше походила на мучительную гримасу. Из зеркала смотрел на доктора чужой жалкий старикашка. Щеки за ночь заросли седой щетиной, веки покраснели, припухли. Кустистые пегие брови встали дыбом. Лысый череп глянцево поблескивал. Глаза, колючие, злые, отвратительного зеленоватого оттенка, излучали внимательную ненависть.

– Сегодня четверг, лабораторный день, – ехидно напомнил уродец в зеркале.

Карл Рихардович не счел нужным отвечать. Отвернуться от зеркала не хватало сил, шея как будто окоченела, и стало холодно в натопленной ванной комнате, в теплой байковой пижаме.

– Мерзнешь? Правильно. Ты труп, тебя нет, – сказал уродец. – Твое сердце давно разорвалось, сосуды полопались от ужаса.

– Врешь, я жив! – тихо огрызнулся доктор.

Уродец в зеркале отрицательно помотал головой. Доктор Штерн мог поклясться, что сам он при этом оставался неподвижным, как деревяшка, мышцы шеи по-прежнему не слушались.

– Невозможно жить после того, что ты натворил, – медленно прошипел уродец.

– Что я натворил? Что? Я врач, я выполнял свой долг, я не мог предвидеть...

– Ты обязан был предвидеть! Ты плохой врач, тобой двигал не долг, а снобизм. Лень, самонадеянность и снобизм.

– Прекрати! Прошло почти двадцать лет!

– Вот именно, почти двадцать лет, и все это время ты упорно продолжал считать себя врачом. Какой же ты врач, если не способен поставить самый простой и очевидный диагноз, констатировать собственную смерть? – уродец тихо, радостно захихикал.

– А, вот тут ты и попался! – Карл Рихардович ткнул пальцем в зеркало. – Если я мертв, я никак не сумею констатировать собственную смерть. Мертвые не знают, что мертвы. Смерть существует только для живых.

В зеркале отразилась рука с вытянутым указательным пальцем. Уродец дернул головой, стряхивая отражение, и рука доктора безвольно упала. Отражение заговорило чужим голосом, солидным баритоном, с легкой одышкой. Оно явно пародировало кого-то, но доктор не мог понять, кого именно.

– Ваше упорство в этом вопросе, дорогой коллега, полностью опровергает вашу собственную теорию, что большинство соматических заболеваний возникают от подавляемого чувства вины, от подсознательного стремления к самонаказанию и саморазрушению, – отражение оскалилось, между крупными желтыми зубами показался острый кончик языка. – Вы мертвец, доктор Штерн, согласно вашей же теории, вы бездыханный труп.

– Но я жив, – устало возразил доктор.

– Мертвые не знают, что мертвы, – повторило отражение, на этот раз пародируя доктора, и продолжило уже своим собственным скрипучим фальцетом: – Не смей меня. Живой человек не способен заниматься тем, чем занимаешься ты в спецлаборатории при двенадцатом отделе. Ты давно уже переселился в преисподнюю, но не хочешь признавать этого.

Старикашка в зеркале едва заметно шевелил сухими синеватыми губами, говорил по-немецки, повторял одно и то же.

Всякий раз, глядя в зеркало, Карл Рихардович старался не вступать в диалог. Когда это началось, он пробовал убедить себя, что гнусная рожа всего лишь отражение. Но оно двигалось как нечто отдельное, и, значит, следовало признать его галлюцинацией. В

конце концов многие психиатры страдают психическими отклонениями, особенно к старости.

В его комнате не было зеркал. Если где-нибудь – в гардеробе, вестибюле, фойе театра – висели зеркала, он отворачивался, быстро проходил мимо. Парикмахерскую не посещал, сам скоблил щеки безопасной бритвой, а волос на голове давно уж не осталось. Таким образом удалось сократить жизненное пространство злобного уродца до небольшого овального зеркала над раковиной в ванной комнате. Карл Рихардович надеялся, что старикашка когда-нибудь оставит его в покое.

– Эльза и дети так верили тебе, а ты обманул и погубил их, – уродец перешел к своей излюбленной теме.

Каждый раз после этой фразы гнусная рожа исчезала, пустое зеркало голубело, наполнялось мягким светом июньского солнца. В голубом светящемся овале возникал самолет, он набирал высоту, уменьшался, пропадал из виду. Некоторое время овал оставался пустым, затем следовал взрыв жуткой сердечной боли, после чего в зеркале опять возникал старикашка.

Сердечная боль была такой мощной, что Карл Рихардович надеялся в одно прекрасное утро тихо скончаться от инфаркта.

– Я не переселился в преисподнюю, я просто там работаю. У меня нет выбора, но есть возможность хоть немного облегчить человеческие страдания. В некоторых случаях мне это удастся.

Доктору казалось, что он рассуждает вполне здраво и убедительно. Уродец глумливо посмеивался:

– Облегчить страдания? Да ты просто ангел милосердный!

– Заткнись! – крикнул доктор шепотом, по-русски.

Он оторвал наконец глаза от зеркала. Его колотила дрожь, он снял пижаму, осторожно, стараясь не поскользнуться, перелез через борт ванной, включил воду. Под горячим душем стало легче. Диалог продолжался, уже беззвучно.

– Да, я почти мертвец, и жить мне, в общем, незачем. Но решать это не мне. Господь давно освободил бы меня от старого ненужного

тела, если бы не оставалось у меня шанса что-то изменить, исправить, как говорят индусы, развязать узлы. Сколько раз я мог умереть? Давай посчитаем, – доктор бросил намыленную мочалку и принялся загибать пальцы. – Вот, пять раз, – он разжал кулак и потряс перед собственным лицом растопыренной пятерней. – Не многовато ли для скромного психиатра?

– Ты уцелел потому, что мертвого убить невозможно.

– Ладно, допустим, ты прав. Что дальше?

– Ничего.

Диалог на этом закончился. Ванную комнату заволокло паром. Доктору стало казаться, что он попал в плотные облака над Альпами. У него закружилась голова, подкосились ноги. Опираясь на борт ванной, он опустился на твердое эмалированное дно, обхватил колени, сидел под горячим душем и бормотал: «Эльза, Макс, Отто... Отто, Макс, Эльза...»

Он повторял имена жены и сыновей до тех пор, пока не успокоился и не почувствовал их живое присутствие. Иногда после приступа тоски и сердечной боли ему удавалось воссоздать в памяти какую-нибудь яркую картинку из прошлого.

На этот раз он вспомнил, как они с Эльзой вернулись из оперы, зашли на цыпочках в детскую. Старший, Отто, спокойно спал, а кровать Макса оказалось пуста. Они разбудили горничную, бегали, кричали, хотели звонить в полицию. Но тут Макс с обиженным ревом вылез из платяного шкафа. Он прятался там от плохого сна. Ему приснилось, что он летит на маленьком «юнкерсе», вокруг пушистые облака, сначала очень красиво, но вдруг самолетик ломается и падает.

Какой это был год? В восемнадцатом доктор Штерн вернулся с войны и женился на Эльзе. В девятнадцатом родился Отто, в двадцать четвертом Макс. Значит, история со шкафом случилась в двадцать девятом. Макс исполнилось пять. Одним из подарков на день рождения был игрушечный «юнкерс». Макс не расставался с ним ни на минуту, жужжал и рычал, изображая звук мотора. Когда

игрушка сломалась, было настоящее горе. Купили новый самолетик, но Макс все не мог успокоиться. Ему постоянно снилось, будто он падает в сломанном «юнкерсе» с огромной высоты. Он бережно хранил обломки игрушки, много раз пытался собрать, склеить, но не получалось.

«Макс, Отто, Эльза», – повторил доктор, и губы его растянулись в спокойной, почти счастливой улыбке. Зеркало не могло ее изуродовать, оно покрылось испариной.

Карл Рихардович вернулся в комнату, вручил Илье чистое полотенце и отправился на кухню готовить завтрак.

* * *

Илья заехал к себе на Грановского, переоделся, сварил крепкий кофе. Оставалось еще двадцать минут, он отправился с чашкой в кабинет, приоткрыл окно, выкурил папиросу.

За прошедшую неделю он почти не появлялся дома, заезжал поспать часа три-четыре и возвращался на службу. Он трудился не поднимая головы. Теперь работа была выполнена. Ночь на катке с Машей стала чем-то вроде премии, которую он решил вручить себе. Он не ожидал, что сделает Маше предложение, как-то само вырвалось. А все же, если так приспичило жениться, было бы разумнее остановить свой выбор на какой-нибудь комсомольской кукле. Ее не жалко, к ней не привяжешься, не захочешь, чтобы она родила тебе ребенка. Жена и дети – заложники, имея семью, ты становишься слабеньким, уязвимым. Но жить с куклой, которая в любой момент может настучать, – совсем тошно. Значит, надо оставаться в одиночестве.

«Нет, один я больше не могу, – думал Илья. – Обязательно должен быть кто-то рядом, кто-то свой, чужих и так полно, и самое скверное, что я слишком ясно вижу их внутренние миры. Я как будто перевоплощаюсь в них, в чужих. Доктор называет это даром

эмпатии. Для чего мне такой дар? Доктор говорит: чтобы выжить среди кукол. А зачем выживать среди кукол?.. Маша, Машенька, чудесная девочка, я, конечно, люблю ее. Почему „конечно“? Просто люблю, и все. Почему я даже мысленно не решаюсь произнести это слово? Потому что страшно заглянуть в себя, там внутри огромная зияющая рана, яма, свалка чужих вонючих химер, мстительных замыслов, страхов, пошлости и мерзости. Любить кого-то здесь и сейчас – полнейшее безумие».

В кабинете между двумя окнами висела небольшая акварель под стеклом в простой деревянной раме. Поясной портрет темноволосой девушки в сером шелковом платье, перетянута по талии широким бархатным кушаком. Большие голубые глаза печально и ласково наблюдали за передвижениями Ильи по комнате. Приходящая домработница Степа однажды заметила: «Прямо как живая эта барышня у вас, в душу глядит своими глазищами». Скоро внимательная Степа непременно скажет: «А супруга-то ваша на барышню эту похожа, одно лицо, будто с нее рисовали».

Ничего, кроме портрета, на стенах квартиры не висело. Квартира была казенная, безликая, но вполне удобная, главное, отдельная. Из двух больших комнат одна служила кабинетом и спальней, вторая гостиной. Там у окна в большом глиняном горшке росло живое лимонное деревце, сорт «мейер», маленький, холодостойкий. Деревце цвело и давало крошечные, с грецкий орех, плоды. Илья иногда дарил душистые лимончики стенографисткам и машинисткам.

Он отхлебнул кофе, уставился в глаза девушки на портрете.

Портрет был третьим окном, за ним открывалось его личное пространство, тайное убежище. Он мысленно дорисовывал то, что не запечатлел художник. Прозрачные завитки у висков, темную маленькую родинку на скуле. Особенно ясно он видел ее руки, каждую жилку на тонких кистях, сильные, гибкие пальцы пианистки с коротко остриженными ногтями. Иногда ему снился ее запах. Во сне он не мог надышаться и каждый раз повторялся один сюжет.

Прорыв сквозь тяжелые слои воды, вверх, к воздуху, к свету, а потом опять погружение на темное, зловонное дно.

На обратной стороне акварели стояла дата: август 1914. Автор не счел нужным оставить подпись, он вовсе не претендовал на звание художника, он был военным врачом. Портрет жены, написанный теплым ранним вечером на даче в Комарово, оказался последним его рисунком. Вскоре он ушел на фронт и погиб. Жена пережила его на пять лет, умерла в девятнадцатом от тифа. Их сыну тогда было двенадцать. Звали его Илья. Он тоже болел тифом, но выжил. Сироту приютила кухарка Настасья Крылова, из Петрограда переехала с ним в Москву, устроилась работать в столовую при Наркомпросе, получила комнату в коммуналке на Пресне.

У Настасьи ни мужа, ни детей не было. Крупная, с грубым лицом, широкими мужскими плечами и пудовыми кулачищами, она материлась и пила водку, как мужик. Илью записала собственным своим сыном, строго-настрого запретила рассказывать в школе и дома, что он приемный. Илья не возражал. Настасья возражений не терпела, замахивалась своей ручищей, гудела басом: «Молчи, щенок, зашибу!» Ни разу не ударила, но грозила часто.

Назвать ее мамой он не мог, говорил «мамаша». Отцовский рисунок, портрет его настоящей матери, Илье удалось сохранить чудом, и только недавно он решился повесить его на стену. Изредка, когда бывало совсем тяжело, он позволял произнести про себя, даже не шевеля губами, тайное, незабываемое слово «мама».

Годам к пятнадцати Илья понял, насколько разумнее и выгоднее быть кухаркиным сыном, чем сыном царского офицера, пусть и врача, пусть и погибшего до революции. Настасья была права, когда говорила: «На хрена тебе, сынок, белогвардейское происхождение?»

Кухаркин сын Илья Крылов легко поступил в МГУ, на отделение внешних сношений факультета общественных наук, выучил немецкий, французский, английский, потом его приняли в Институт красной профессуры, оттуда он попал на работу в Институт марксизма-ленинизма. Карьера выстраивалась блестящая. Вот уже

четвертый год Илья Петрович Крылов служил в Особом секторе ЦК, то есть в личном секретариате Сталина. Должность его называлась скромно и загадочно: спецреферент. Непосредственным его начальником был товарищ Поскребышев.

Основным занятием Ильи являлся анализ информации, касающейся нацистской Германии и ее отношений с другими европейскими странами. Донесения и сводки, поступающие по линии НКВД и ГРУ, зарубежная пресса, отчеты о переговорах, доклады послов и атташе, перехваченная дипломатическая переписка – все ложилось к нему на стол, иногда до того, как попадало к Сталину, иногда после, с пометками и указаниями Сталина.

В штате Особого сектора ЦК таких спецреферентов было всего двенадцать. Каждый занимался своей сферой: промышленность, сельское хозяйство, финансы, советский аппарат, партийный аппарат, письма трудящихся. К ним стекалась информация из наркоматов, они готовили сводки, отчеты, сопроводительные записки, доклады, подбирали материалы для заседаний Политбюро, для выступлений товарища Сталина на пленумах и съездах. Двенадцать спецреферентов, в отличие от просто референтов и технических секретарей, почти не общались друг с другом, никогда не дежурили в приемной, не делали записей в журналах посещения. Каждый имел собственный кабинет. Мало кто знал их в лицо. Они вели замкнутую, тихую жизнь канцелярских крыс и строго придерживались закона «Трех „У“»: Угадать, Угодить, Уцелеть.

К февралю 1934-го, когда Илья попал в Особый сектор, там остались лишь те, кто в совершенстве овладел искусством канатоходца, балансируя на тончайшей черте меж двух реальностей – настоящей и сталинской. Для этого нужно было ясно видеть обе, понимать разницу, чувствовать, где кончается одна и начинается другая, и стараться удержать равновесие на границе между ними.

За всю историю существования сектора в настоящую реальность решились уйти двое. Первый, Борис Божанов, личный сталинский

секретарь, сбежал в 1929-м за границу и вроде бы уцелел.

Второй, Сергей Телинский, спецреферент по сельскому хозяйству, умер от острой сердечной недостаточности в 1932-м. Илья не застал ни того ни другого. О Божанове почти ничего не знал, о Телинском кое-что слышал. Телинскому было двадцать девять лет. Он боготворил товарища Сталина, считал, что враги скрывают от него правду, и пытался через свои сводки раскрыть глаза товарищу Сталину, показать реальную картину чудовищного голода, разразившегося в результате коллективизации.

Фатальной ошибкой Телинского стало вовсе не количество ужасов, перечисляемых в сводках. Товарищ Сталин отлично знал, что миллионы крестьян пухнут от голода, едят трупы. Ошибка заключалась в личном ужасе. Сергей позволил себе испугаться и пожалеть умирающих крестьянских детей. Между строками сводок засквозили собственные человеческие эмоции Телинского. Хозяин это унюхал мгновенно, он обладал особенным, звериным нюхом на душевные переживания, из коих самым омерзительным и опасным считал жалость.

Действительно ли молодое здоровое сердце разорвалось от жалости к крестьянским детям, или причиной смерти явились бутерброды и чай, принесенные ему ночью из буфета, никто никогда не узнает. Тело кремировали на следующий день. Своеобразным памятником жалостливому спецреференту Телинскому стал закон от 7 августа 1932-го, придуманный самим Хозяином и названный в народе «законом о пяти колосках». По этому закону колхозное имущество, включая каждый неубранный колосок в поле, приравнивалось к государственному, хищение каралось минимум десятью годами, а чаще смертной казнью.

Работа в Особом секторе могла стать трамплином для еще более успешной карьеры в том случае, если работник готов был нырнуть в сталинскую реальность и остаться там навсегда. Это означало абсолютное растворение в мутной бездонной субстанции, именуемой Сталин.

Определить ее химический состав вряд ли возможно. Существовало множество словесных формул: Великий Вождь советского народа, Великий стратег революции, Величайший Гений всех времен и народов, Отец, Друг, Учитель, Хозяин, Инстанция, но все они только добавляли туману.

Растворившись в Сталине, человек переставал существовать как самостоятельная отдельная личность. Закон «Трех „У“» отпадал сам собой. Растворившийся угадывал и угождал без всяких усилий, это для него было естественно, как обмен веществ, а уцелеть он не мог, поскольку растворялся без остатка. Он искренне верил, что рябой низколобый сын горийского сапожника, семинарист-недоучка Иосиф Джугашвили на самом деле Великий Сталин, родившийся не 6 декабря 1878-го, а 21 декабря 1879-го, Хозяин, Вождь, Отец. Без товарища Сталина, как без солнца, воды и воздуха, жизнь на земле невозможна.

В близком окружении Инстанции таких, полностью растворенных, было немного. Молотов, Каганович, Ворошилов. Из Особого сектора в сталинскую реальность прыгнули двое: Георгий Маленков и Николай Ежов. Все прочие балансировали, угадывали, угождали, пытались уцелеть, каждый в меру своих способностей.

О том, что Хозяин в 1922-м изменил дату собственного рождения, Илья узнал случайно, от товарища Товстухи, который и порекомендовал молодого сотрудника Института марксизма-ленинизма Хозяину в качестве спецреферента.

Иван Павлович Товстуха был отцом-основателем «сталинского кабинета», личным секретарем Хозяина. Секретным отделом (так раньше именовался Особый сектор) он заведовал с 1930-го по 1931-й, потом работал в Институте марксизма-ленинизма и скончался от туберкулеза в 1935-м в возрасте сорока шести лет.

Очень рано, еще в начале двадцатых, Товстуха разглядел сквозь наслаения идеологического тумана перевернутый сталинский мир и шагнул в него не раздумывая. Именно Товстуха готовил первые расстрельные списки, ведал тайной картотекой, содержащей

компромат на каждого члена ЦК, сортировал бесчисленные писульки Ленина, дробил реальность, выкладывал из осколков мифологические картинки, мозаику Сталинской истории.

Илья застал Товстуху в последние два года жизни. Тощий, сумрачный, с лицом интеллигентного провинциального конторщика, он казался настоящим фанатиком. Разбирая партийные документы, Илья узнал, что Товстуха в 1912-м сбежал из сибирской ссылки, благополучно пересек границу Российской империи, очутился в Вене. Именно там он близко сошелся с кавказцем Кобой, который также нелегально, после побега, явился в австрийскую столицу в 1913-м, чтобы создать свой бессмертный труд «Марксизм и национальный вопрос». Дальше пути их разошлись на некоторое время. Товстуха переехал в Париж, стал членом Парижской секции большевиков. Будущий Великий Вождь вернулся в Россию и опять попал в ссылку. Встретились они в Петрограде после Февральской революции и с тех пор почти не расставались.

Однажды молодому научному сотруднику Крылову попала анкета, заполненная рукой Сталина в 1920 году. Там стояла дата рождения – 6 декабря 1878-го. Илья показал анкету Товстухе, спросил, откуда взялась эта странная дата. Товарищ Сталин ошибся нечаянно, много работал, устал? Или ошибка связана с героическим периодом в биографии товарища Сталина, когда он скрывался от царской охранки и жил по поддельным документам?

В ответ Илья услышал: нет, это не ошибка, Иосиф Виссарионович Джугашвили родился 6 декабря 1878-го, новая дата рождения, 21 декабря 1879-го, появилась в анкете 1922-го, когда он стал генеральным секретарем. Но это государственная тайна.

Илья заметил в глазах Ивана Павловича легкую, почти неуловимую усмешку. Она относилась вовсе не к товарищу Сталину, а к тем, кто знает настоящую дату его рождения, но все равно искренне верит в придуманную. Позже, незадолго до смерти, Товстуха вдруг вернулся к тому разговору.

«Двадцать первое декабря, день зимнего солнцестояния. Светило проходит точку смерти-воскресения. Сосо и товарищ Сталин не могли родиться одновременно. Это разные люди. Сосо обычный человек, товарищ Сталин – Солнце народов», – прохрипел он и тяжело закашлялся. Вот тогда Илья понял, где проходит граница между двумя реальностями, почувствовал тонкий, нетуго натянутый канат под ногами и начал отрабатывать равновесие.

Поскребышев, преемник Товстухи, был вовсе на него не похож. Товстуху называли партийным сейфом, он оставался до конца тверд и непроницаем, как несгораемый шкаф. Поскребышев казался мягонькой маленькой обезьянкой. Иностранными языками не владел, получил профессию фельдшера, в подпитии любил рассказывать, как проводил большевистские собрания в операционной палате. По его подвижному обезьяньему лицу всегда можно было определить настроение Инстанции. Когда Хозяин бывал весел и бодр, Поскребышев улыбался во весь свой губастый широкий рот. Если Хозяин пребывал в дурном расположении духа, Поскребышев хмурился, морщился, мрачно помалкивал.

Именно с такой хмурой, застывшей гримасой он передал Илье приказ Инстанции подготовить расширенную аналитическую сводку.

Документы, с которыми работал Илья, имели гриф самой высокой секретности, он не мог взять домой ни одной бумажки, а бумажек этих насчитывалось больше тысячи. Каждую следовало прочесть весьма внимательно, не только машинописные строки, но и то, что между строк.

Это были агентурные сообщения, справки и спецсводки, касающиеся тайной работы Германии против СССР с 1933-го по 1937-й, то есть с прихода к власти Гитлера по настоящее время. Кроме материалов из органов, имелись тексты официальных выступлений Гитлера и Гимmlера, статьи из немецкой прессы, где затрагивалась советская тема.

Большинство документов были уже знакомы Илье, но еще ни разу ему не приходилось работать со всем массивом информации

целиком.

Текст сводки следовало уместить на дюжине машинописных страниц, чтобы чтение не отняло у Хозяина слишком много времени. Беречь его время – вот первая заповедь. Не упустить ничего важного – вторая заповедь. Чтобы в точности выполнить ее, надо заранее знать, что в причудливом переплетении мифов, фактов, сплетен, политического мошенничества и пропагандистских трюков, Инстанция сочтет важным, а что второстепенным. Третья заповедь – всякий документ, составленный для Инстанции, обязан быть стерильным от личных мнений и эмоций составителя. Чтобы обслужить товарища Сталина, требовалось настроиться на его волну, дышать с ним в унисон, мыслить и чувствовать как он, при этом не переходя на его территорию, оставаясь на тонкой границе двух реальностей.

– Илюша, ты справишься, не бойся, будь внимательным, разумным и осторожным.

Эта была последняя фраза, которую произнесла мама.

Он отчетливо помнил каждую минуту того ледяного февральского дня девятнадцатого года. У мамы упала температура, она перестала бредить, глаза прояснились. Она вытащила из ушей сережки, попросила его сходить на рынок, обменять на хлеб, крупу, несколько картошин. Что дадут, на том спасибо.

Не дали ничего. Он развернул тряпицу, в которой лежали сережки, маленький востроносый старичок-покупатель разглядывал их, щурился: «Каки-таки брулянты? Стекляшки! А вот погода, стой здесь, я Лазарю покажу».

Кто такой Лазарь, осталось тайной. Старичок исчез навсегда вместе с сережками. Илья был совсем слабый после тифа, едва держался на ногах, побежал следом, поскользнулся, упал, расшиб колени, ободрал ладони, сидел посреди улицы, тихо выл. Тут и появилась кухарка Настасья. Узнала его, помогла встать, довела до дома. Когда они поднялись в нетопленную квартиру, мама уже не дышала.

«Илюша, ты справишься, не бойся, будь внимательным, разумным и осторожным».

Он смотрел в глаза портрету, в тысячный раз для него звучала последняя ее фраза, повторялось движение руки, перекрестившей его на прощание. Ее обритая голова была замотана вязаным платком. Она размотала платок, чтобы снять сережки, и он заметил: волосы немного отросли, но не каштановые, а совершенно белые.

Он не смог прикоснуться к ней мертвой. Даже на похоронах не сумел поцеловать лоб, накрытый бумажной лентой. Потом долго еще злился, обижался, будто смерть была ее личным выбором. Мама бросила его, предала, жестоко и несправедливо наказала. Он постоянно говорил с ней, упрекал, просил прощения, хныкал, жаловался. Он продолжал ссориться и мириться с ней, пока не повзрослел. Обида сменилась спокойной уверенностью, что мама всегда рядом, она его ангел-хранитель. Ее незримое присутствие помогало ему выжить, сохранить равновесие на границе двух реальностей.

– Конечно, мамочка, я справлюсь, я буду внимательным, разумным и осторожным, – прошептал Илья, допил последний глоток кофе, вымыл чашку и отправился на службу.

Глава вторая

Всю Первую мировую войну доктор психиатрии Карл Штерн проработал в прифронтовых госпиталях, занимался травматическими невротами.

Патриотическую эйфорию августа 1914-го он воспринял как вспышку массовой психической эпидемии. Он с тоской и ужасом вспоминал огромную толпу берлинцев, собравшихся на Шлоссплац 1 августа послушать выступление кайзера Вильгельма II, и кайзер заявил, что не хочет больше знать ни партий, ни вероисповеданий, а знает только братьев-немцев. Толпа восторженно взревела и забилась в экстазе.

Начало войны стало праздником народного единства, немцы шли на призывные пункты с цветами и криками «ура!». На площадях, в парках, в пивных собирались радостные толпы, хором пели патриотические песни. Газеты в упоении цитировали Прудона: *«Война – это оргазм универсальной жизни, который оплодотворяет и приводит в движение хаос – прелюдию всего мироздания, и, подобно Христу Спасителю, сам торжествует над смертью, ею же смерть поправ»*^[1].

Психическая эпидемия милитаристского восторга продолжала распространяться все годы войны, ее поддерживала официальная пропаганда. Каждая незначительная победа на фронте объявлялась триумфом. Поражения замалчивались.

К доктору Штерну попадали раненые с психическими расстройствами, контуженные, оглушенные, засыпанные землей, в состоянии шока с последующей спутанностью сознания и амнезией. Он писал в дневнике:

«Я не патриот, я плохой немец, внутренний дезертир. Я чувствую себя преступником. Я вылечиваю больного с одной лишь целью – отправить его обратно в окопы. В моем случае

облегчение страданий означает приближение гибели больного. Чем успешнее лечение, тем скорее очередной страдалец вернется на фронт, под пули, снаряды и газы. Война – это проявление острейшей массовой психопатии. Фронт – территория безумия, и чем же занимаюсь я, доктор психиатрии? Чем занимаются все врачи во всех фронтовых лазаретах Европы? Чем? Полнейшим абсурдом! Мы вылечиваем людей не для того, чтобы они жили, а для того, чтобы погибали».

Весна и лето 1918-го прошли в ожидании скорой победы Германии. Предвестником победы стал мирный договор с революционным правительством России, подписанный в Брест-Литовске 3 марта. Один из главных противников Германии был полностью выведен из строя, казалось, без России союзники не сумеют одержать верх. Немецкая армия наступала на всех фронтах, но наступления проваливались, захлебывались в крови. Противнику после каждого немецкого прорыва удавалось стабилизировать фронт. Немецкие газеты продолжали трубить об успехах и победах.

К августу союзники перешли в контрнаступление, прорвали немецкие позиции. Положение стало катастрофическим для Германии. В конце сентября Людендорф^[2] потребовал от руководства страны немедленно заключить перемирие.

Осень 1918-го доктор Штерн встретил в Померании, в резервном лазарете в Пазельвалке. 21 октября поступила очередная группа раненых и отравленных ипритом, среди них был ефрейтор Адольф Гитлер. Глаза его пострадали от газа, лицо с повязкой на глазах казалось ожившим рисунком Пикассо, оно было как бы разъято на три части, перечеркнуто сверху по горизонтали широкой белой полосой бинта и снизу – темной полосой длинных, торчащих в стороны усов.

Ефрейтор дрожал и бредил, иногда впадал в кататонию, застывал в неудобной позе, молчал, и даже сквозь повязку чувствовался его

тяжелый, неподвижный взгляд. Когда повязку сняли, открылась грубо вылепленная длинная серо-желтая физиономия со впалыми щеками, хрящеватым вперед торчащим носом, низкими надбровными дугами.

Окулист, осмотрев его глаза, не нашел ничего опасного. Отравления ипритом часто сопровождаются воспалением и отеком конъюнктивы и век, в результате человек на некоторое время теряет зрение. Это проходит быстро.

Ефрейтор Гитлер не верил окулисту, панически боялся ослепнуть навсегда, твердил, что слепота для него катастрофа, крушение всех надежд, ибо он художник. Доктор Штерн обследовал его, диагностировал травматический невроз. Обычно хватало одного-двух сеансов психотерапии, чтобы справиться с этим. Но случай ефрейтора Гитлера оказался сложным.

Он отважно воевал, пережил ранение, вернулся на передовую, имел несколько боевых наград, в том числе Железный крест первой степени за храбрость. Отравление ипритом сыграло роль пускового механизма для лавинообразного развития тяжелых фобий. К страху слепоты прибавился страх заразиться венерическим заболеванием. Сломанную переносицу соседа по палате Гитлер считал результатом сифилиса, уверял, что лазарет кишит бледными спирохетами, постоянно мыл руки, отчего кожа на кистях краснела и шелушилась, и это казалось ему началом гонореи. Вспучивание живота и кишечные газы, спровоцированные неврозом, он принимал за верные признаки роста злокачественной опухоли.

Доктор легко обнаружил истоки фобий. Мать Гитлера умерла от рака, он боялся, что рак передается по наследству. Так возникла канцерофобия. До войны он жил в Вене, в страшной нужде, голодал, ночевал в нищенских приютах, рядом с бродягами – отсюда страх заразиться.

Травматические неврозы довольно часто поднимают из подсознания детские и юношеские страхи. Испытав смертельную опасность, человек начинает воспринимать всю свою жизнь как

череду опасностей, угроз, травм и трагических потерь. Если нет серьезных увечий, это проходит, компенсируется радостью выздоровления.

У ефрейтора Гитлера увечий не было, зрение восстановилось, однако ни малейшей радости он не испытывал, оставался крайне тревожным, мнительным. Внешний мир для него кишел врагами, заговорщиками, микробами, паразитами. Нормальные физиологические процессы в собственном его организме вызывали панические подозрения. Отвращение к жизни и к самому себе тяжело вибрировало в нем, задавало ритм его сердцу, пищеварению, обмену веществ. Он твердил о возрождении Германии, о биологическом превосходстве немцев над другими народами, при этом его раздражали немцы – соседи по палате, врачи, медсестры. Он превозносил народ, но каждого отдельного человека, включая себя самого, безнадежно, тупо ненавидел.

Для доктора Штерна случай ефрейтора Гитлера представлял практический интерес. Он был живой иллюстрацией к теории органического самоубийства, согласно которой большинство соматических заболеваний возникают по причине латентных психических расстройств. Перед войной доктор много занимался этой темой, его статьи «Психопатология и органические заболевания» и «Инстинкт смерти при соматических и психических отклонениях», опубликованные в «Вестнике психиатрии», вызвали бурные споры в медицинском мире.

Однажды во время сеанса психотерапии Гитлер рассказал, как подобрал на фронте собаку, привязался к ней. Потеря единственного, по-настоящему близкого и преданного существа стала для него тяжелой травмой. Рассказывая о собаке, он разрыдался, и доктор, забыв о своих теоретических изысканиях, почувствовал острую жалость к этому маленькому одинокому человеку. Никто не ждал его домой с войны, да и не имел он дома. Не было у него семьи, друзей, любимой девушки. И хотя он называл

себя художником, доктор подозревал, что на самом деле профессии у него тоже нет и если он рисует, то дилетантски скверно.

«Никто не любит беднягу ефрейтора, – писал в дневнике доктор. – Ничего у него нет, кроме железных крестов и мечтаний, таких же как кресты, железных. После грязи и крови, после обстрелов, окопов, он мечтает не о нормальном человеческом счастье, не о любви и даже не о богатстве. Он бредит беспощадной борьбой с врагами, продолжением войны до победного конца, разумеется, ради величия великой Германии. Когда я говорю с ним, мне начинает казаться, что скрытая страсть к самонаказанию и саморазрушению может быть направлена не только вовнутрь организма, но и во внешний мир. Возможно ли предположить, что войны происходят не по случайному стечению глупейших обстоятельств, не из-за упрямства и амбиций политиков, не из-за жадности торговцев оружием? Сотни тысяч таких вот маленьких мечтателей, не умеющих найти свое место в жизни, овладеть каким-нибудь полезным ремеслом, создать семью, начинают ненавидеть жизнь и стремятся к смерти, но вместо того, чтобы болеть и умирать, они заражают других своей некрофилией. Таким образом возникает психическая эпидемия, коллективная жажда грандиозных перемен. Характерно, что накануне и во время войны некрофилия особенно успешно маскируется набором пропагандистских клише.

Впрочем, ефрейтор Гитлер не виноват, что его никто не любит. Мои философствования о причинах войн нелепы и жестоки. Я никогда не знал нужды. Мое детство было наполнено любовью, праздниками, игрушками, музыкой, книгами, поездками на лучшие европейские курорты. У меня уважаемая полезная профессия, большая уютная квартира в Берлине. Меня ждет Эльза. Мы поженимся, у нас будут дети. Я не вправе судить беднягу ефрейтора. С высоты моего

благополучия и университетского образования его мечты кажутся вульгарной демагогией. Со дна его невежества и полунищего прозябания я выгляжу зажавшимся эгоистичным буржуа».

В лазарете царило тревожное возбуждение. Раненые, врачи, медсестры обсуждали слухи о падении монархии и близком конце войны. 10 ноября лазаретный священник собрал раненых и объявил, что война проиграна, что произошла революция, династия Гогенцоллернов свергнута и Германия провозглашена республикой.

Раненые приняли это известие по-разному. Кто-то загрустил, кто-то стал зло браниться, кто-то обрадовался, что можно, наконец, вернуться домой. Некоторые даже всплакнули, но скоро все спокойно разошлись по палатам.

Доктор Штерн писал письмо своей невесте Эльзе, он надеялся, что это последнее письмо, скоро они увидятся и больше не расстанутся никогда.

«Помнишь нашу прощальную прогулку в парке в Шарлоттенбурге перед моим отъездом на фронт? Мы забрели в глушь, началась гроза, было некуда спрятаться, мы побежали, ты споткнулась, упала, я поднял тебя, мы стали целоваться под ливнем и вдруг обнаружили, что попали в радугу. Потом ты уверяла меня, что это невозможно, что радуга высоко в небе, а мы на земле, ты рассуждала о законах физики, а я смотрел на тебя и любовался блеском влажных ресниц, детской серьезностью...»

Он не успел дописать фразу, в дверь постучали. Сестра сообщила, что у больного Гитлера острый психоз и требуется срочная помощь.

– Не хочется использовать сильные средства, – сказал дежурный невропатолог. – Этот ефрейтор никого к себе не подпускает, рыдает, бьется в судорогах. Он измучил своих соседей, к тому же опять

жалуется на слепоту. Карл, вы как-то справляетесь с ним, попробуйте успокоить.

Койка ефрейтора прыгала, скрипела от судорожных рыданий. Гитлер забился с головой под одеяло, слушать его завывания было невыносимо. На соседей по палате вой и судороги действовали угнетающе. Ходячие вышли, лежащие отвернулись. Требовалось как-то разрядить атмосферу.

Доктор откинул одеяло, тронул дергающееся худое плечо.

– Адольф, перестаньте рыдать, будьте мужчиной.

Ефрейтор сел, сжал виски ладонями и, покачиваясь, забормотал сквозь всхлипы:

– Я ничего не вижу, я ослеп, опять ослеп!

Окулист уже несколько раз осматривал его, глаза были в полном порядке, слепота в данном случае носила истерический характер.

– Адольф, зрение ваше восстановилось, и вы это отлично знаете. Вы просто не хотите видеть, прячетесь за мнимой слепотой от чего-то, что вас сильно пугает. Давайте попробуем вместе разобраться в ваших страхах.

Доктор чувствовал, что говорит в пустоту. Ефрейтор не слышал его, продолжал покачиваться и бормотать:

– Все пропало, позор, катастрофа, Германия погибла. Гнусный заговор свершился, зловонная нечисть торжествует, это конец, Германия унижена, Германия погибла.

Требовались какие-то другие слова, чтобы больной вышел из истерического ступора и вступил, наконец, в осмысленный диалог.

– Вот вы и спасете ее, Адольф, – твердо, медленно произнес доктор. – Именно вы спасете Германию.

Слезы мгновенно высохли. Гитлер перестал покачиваться, застыл и вдруг, схватив доктора за руку, прошептал:

– Да, да, о да! Я спасу Германию! [3]

Доктор осторожно высвободил руку.

– Ну вот и славно, Адольф. Наконец вы меня услышали. Теперь остается только увидеть. Успокойтесь, сосредоточьтесь, попробуйте

вернуть себе зрение.

– Как? – он вытаращил глаза на доктора, лицо его приобрело совершенно идиотическое выражение.

«А ведь у него пучеглазие, базедова болезнь», – подумал доктор и спокойно объяснил:

– Зрение вы можете вернуть себе усилием воли. Вы волевой человек. Попробуйте, я уверен, у вас получится.

Со стороны это выглядело комично, доктор слышал, как посмеиваются больные на соседних койках. Но до ефрейтора их смех не доходил. Он неотрывно смотрел на доктора, глаза светились холодным голубым огнем, лицо оставалось неподвижным, только кончики усов слегка дрожали и по вискам медленно текли струйки пота.

Доктор вовсе не собирался применять гипноз, но ефрейтор впал в гипнотический транс. Его заворожили собственные мечты, озвученные другим человеком, единственным человеком в лазарете, который относился к нему терпимо и никогда над ним не смеялся.

– Да, да, о да, я вижу, зрение вернулось ко мне, теперь я вижу все. Я уничтожу врагов и спасу Германию, – несколько раз повторил больной и принялся грызть ногти.

После этого небольшого эпизода ефрейтор поразительно изменился. Он больше никого не беспокоил своими фобиями и приступами психопатии, жадно читал газеты, с аппетитом ел, гулял по госпитальному двору, был молчалив, но если к нему обращались, отвечал разумно и вежливо. При выписке из лазарета врачебная комиссия признала его здоровым физически и психически.

– Как вам это удалось, Карл? – спросил главный врач.

– Очень просто. Я заверил его, что он спасет Германию.

Все присутствующие весело засмеялись.

* * *

Маша едва не опоздала на репетицию. Пришлось надеть Васины старые валенки, они оказались малы, к тому же протерлись на пятках, а калош к ним не нашлось. Пока бежала, несколько раз поскользнулась, ногам было тесно, больно.

В коридоре на доске объявлений у канцелярии, рядом с расписаниями репетиций, списками распределения ролей, информацией об очередном политчase был приклеен ватманский лист, крупно, как для слепых, надпись черной тушью: «СЕГОДНЯ, В 17.00, В МАЛОМ ЗАЛЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!»

В повестке дня пунктом первым значился доклад члена бюро тов. Ковтуна «Советская творческая молодежь в авангарде идеологической борьбы». Пунктом вторым – персональное дело комсомолки Л. Русаковой.

Маша знала, что арестован отец Лиды Русаковой. Он служил в Наркомате тяжелой промышленности, занимал какой-то высокий пост при Орджоникидзе. Лида училась вместе с Машей с первого класса. У нее был сложный врожденный дефект колена, при котором невозможно танцевать. Но Лида умудрялась скрывать это, терпела жуткие боли, постоянно муштровала себя и танцевала отлично.

Из двадцати человек выпуска прошлого года в Большой попали три мальчика и пять девочек, в том числе Маша и Лида. Из пяти девочек-выпускниц сольные партии в балете «Аистенок» («Дружные сердца») получили только они двое. Премьера планировалась на июнь 1937-го. Маше досталась «Пионерка Оля», что само по себе было огромной удачей. Одна из главных партий, но по хореографии совершенно никакая. Характера нет, просто сверхположительная, правильная пионерка, картонная, как с плаката. Маша мечтала станцевать Аистенка, но он достался Лиде.

Уже неделю ходили слухи, что предстоит собрание, на котором будут разбирать Лиду. До сегодняшнего утра оставалась надежда: вдруг обойдется как-нибудь. Такие собрания проводились везде, даже у Васи в школе. Никто не рассказывал подробностей, мама с

папой после таких собраний приходили молчаливые, мрачные. Десятилетний Вася однажды поделился, на ушко, по секрету:

– У мальчика арестовали папу, нас загнали в актовй зал. Мальчик перед всей школой клялся, что папу своего ненавидит-проклинает, потому что он враг и шпион. Из пионеров не выгнали, но из школы он все равно исчез, говорят, маму тоже взяли, а самого мальчика отправили в детдом. Другой мальчик отказался проклинать папу, его сразу выгнали. Пришлось голосовать, поднимать руку. Не поднимешь, тебя выгонят, и даже родителей могут взять, что неправильно воспитывают.

В театре таких собраний пока ни разу не было. Только бесконечные нудные политчасы. Брат уверял:

– Всех заставляют, вас тоже, вот увидишь!

Взгляд скользнул по списку распределения ролей в «Аистенке», и сердце больно стукнуло. Вместо старой висела новая бумажка, где чернильным карандашом было выведено: «Аистенок – М. Акимова».

«Почудилось», – решила Маша и еще раз прочитала список. Жирно, синим по белому, против Аистенка красовалась ее фамилия. Пионерку Олю теперь танцевала Светка Борисова, которая раньше числилась во втором составе, а Катя Родимцева, лучшая Машина подруга, перешла из кордебалета во второй состав на «Олю».

Лида Русакова теперь не числилась ни в первом, ни во втором составе.

На ватных ногах Маша поплелась к раздевалке. Она мечтала об Аистенке, выучила всю партию, не сомневалась, что станцует лучше Лиды. Прыжок у нее получался легчайший, с долгим зависанием в воздухе, рисунок танца тонкий, точный, а Лида тяжеловата для птички, хотя, конечно, техника у нее великолепная. И вот мечта сбывается. Танцуй, Акимова, блесни на премьерe своим потрясающим прыжком и тонким рисунком, сорви бешеный аплодисмент. Тебя заметят, оценят, станешь примой.

Тут же сложился в голове очередной стишок:

Я танцую лучше всех,
ждет меня большой успех.
Почему ж мне так паршиво,
будто подлость совершила?

Он не утешил, не обрадовал, только добавил тревоги и горечи.
В раздевалке остались всего три девочки, почти все уже были в зале.

– Привет, – сказала Маша, ни к кому конкретно не обращаясь.

Никто не взглянул в ее сторону. Обычно в раздевалке болтали, хихикали, сплетничали. Сейчас как воды в рот набрали. Маша молча стянула валенки, спрятала под скамейку, принялась разминать, массировать стопы. Встала, осторожно поднялась на полупальцы. Вроде бы ничего, ноги ожили. Быстро переоделась, побежала в зал, заняла свое место у палки, рядом с Лидой.

По залу расхаживала Пасизо, самая суровая из педагогов-репетиторов – Ада Павловна Сизова. Прозвище удачно сложилось из отчества и фамилии. «Па сизо» в балетной терминологии – прыжок-«ножницы», при котором вытянутые ноги выбрасываются вперед по очереди. У Сизовой был громкий, резкий голос, команды ее звучали как лязганье ножниц:

– Акимова, опять опаздываешь! Батман дубль фраппэ! Ранверсэ! И-р-раз, и-два, и-тр-ри! Наталья, гни спину, ты как бабка с радикулитом! Май, не спать, не спать!

Маю Суздальцеву досталась партия злого Петуха. Он был ленинградец, учился в классе самой Вагановой. В Московское училище попал в тридцать пятом. Его родителей посадили после убийства Кирова. Мая взяла к себе в Москву бабушка, они жили в подвальной коммуналке недалеко от Маши, в Банном переулке, в шестиметровой комнатке. Подвал был сырой, без водопровода и

отопления. Бабушка болела, Май часто простужался, к тому же не высыпался. Соседи устраивали ночами пьяные драки.

«Вот ведь Мая не разбирали на собрании, не заставляли отречься от родителей, разрешили жить в Москве, взяли в училище, потом в Большой, – думала Маша, опускаясь в глубокое плие. – Дали танцевать злого Петуха. Почему же с Лидой так?»

Пасизо подходила к каждому, делала замечания, поправляла руки, ноги, хлопала по спинам, по коленям. Только к Лиде не прикоснулась, не взглянула на нее. Маша вдруг вспомнила, что муж Ады Павловны, балетмейстер Сизов, исчез куда-то. Еще недавно ставил балеты, входил в приемную комиссию, в профком, в партбюро, а теперь нет его, и никто не удивляется, не спрашивает, куда делся, будто вовсе не существовало на свете балетмейстера Сизова.

«Люди не исчезают просто так, не растворяются в воздухе, – думала Маша. – Если бы заболел, навещали бы в больнице или дома, если бы умер, висел бы некролог, были бы похороны. Значит, арестован. Пасизо продолжает преподавать как ни в чем не бывало, не трогают, не выгоняют».

– Ну что, Акимова, ты рада? – шепотом спросила Лида.

– Лидка, перестань, – Маша вытянула ногу в батмане. – Все обойдется, там разберутся, папу твоего отпустят.

– Издеваешься? – в шепоте ее было столько ненависти, что у Маши похолодело в животе.

– Лида, нет, пожалуйста, не говори так, разве я виновата?

– Акимова, хватит болтать! Колено гнешь, висишь на палке, как мокрая тряпка!

Пасизо крикнула ужасно громко. Старенькая аккомпаниаторша Надежда Семеновна перестала играть. Все уставились на Машу. Тишина длилась не больше минуты, но как будто вечность прошла. Наконец Пасизо хлопнула в ладоши:

– Не спим! Работаем!

Надежда Семеновна, опомнившись, бодро застучала по клавишам. После общей разминки Пасизо занялась Машей, заставила ее повторить все сольные партии Аистенка, орала, больно била по спине, называла кувалдой, мешком с картошкой, мокрой тряпкой, параличной бабкой. Остальные сидели на полу, смотрели и слушали. Маша зависала в прыжках, крутила фуэте, глаза заволокло слезами, но это не имело значения. Расплывались лица девочек, мальчиков, расплывалась тонкая, прямая Пасизо. Седая голова Надежды Семеновны парила, как ущербная луна, над сверкающей чернотой рояля.

– Стоп! – Пасизо хлопнула в ладоши. – Репетиция через полчаса. Все свободны, кроме Акимовой.

Маша бессильно опустилась на пол, уронила голову на колени, вытянула руки, закрыла глаза. Когда стихли шаги и никого не осталось в зале, Пасизо уселась рядом на пол, произнесла чуть слышно:

– Успокойся, это решение приняли две недели назад. Семейная ситуация Русаковой тут совершенно ни при чем.

Маша увидела прямо перед собой худое, пепельное под слоем пудры и румян лицо Пасизо. Вблизи серые узкие глаза оказались не пронзительными, а воспаленными, как бывает после долгих слез и бессонных ночей.

– Почему ничего не сказали? Почему новый список появился только сегодня, в день собрания, рядом с объявлением? – спросила Маша.

– Тебе какая разница? – Пасизо резко поднялась, подняла Машу.

Оставшиеся полчаса она повторяла с Машей ключевые комбинации, шлифовала повороты, ракурсы, толчок, приземление на пальцы и полупальцы. Пасизо мгновенно определяла ее слабые места, чуть-чуть меняла положение рук, головы, и танец преображался, каждое па точненько, удобно приспособлялось к телу.

На репетицию Маша явилась разогретая, спокойная, собранная. В зале сидели композитор, балетмейстеры, авторы либретто, завтруппой, репетиторы, еще какое-то театральное начальство. Маша чувствовала, что танцует отлично и Пасизо правильно сделала, что не дала ей передышки. В сцене, где пионерка Оля и пионер Вася учат Аистенка летать, Маше удалось создать контрастный образ. Птенец-неумеха, беспомощный, слабенький, превращался в сильную, свободную птицу. После забавного па-де-труа с пионерами Аистенок солировал, крутил фуэте, летал, зависая в воздухе. В зале прозвучали аплодисменты, что бывает крайне редко на репетициях.

Глава третья

Доктор психиатрии Карл Штерн скоро забыл ефрейтора Гитлера. Медовый месяц они с Эльзой провели в Швейцарских Альпах. Когда вернулись в Берлин, Карл продолжил работу в клинике. В декабре 1919-го Эльза родила крепенького белокурого мальчика, его назвали Отто в честь родного брата Эльзы, погибшего на войне.

Все складывалось именно так, как мечтал Карл, сражаясь с психозами и психопатиями в прифронтовых госпиталях. Уют, чистота, покой, румяный улыбчивый младенец в кроватке, Эльза в ночной сорочке расчесывает перед зеркалом длинные светло-рыжие волосы. Такие счастливые картинки он видел во сне на войне и только ими спасался от кровавого абсурда войны. Теперь картинки стали реальностью.

Доктор Штерн радовался каждому новому дню и считал, что самое страшное позади. Война закончилась, невозможно представить, что этот ужас когда-нибудь повторится.

Революции, военные перевороты, митинги, демонстрации, истерический тон газет и листовок, облепивших стены домов, заборы и афишные тумбы Берлина, – все это казалось доктору Штерну отрывком войны, массовым посттравматическим психозом, но ни в коем случае не предвестником новой вспышки общественного безумия.

По Германии катилась волна политических убийств и уличных потасовок. Курс марки падал, безработных становилось все больше. Газеты смаковали кровавые подробности ужасающих сексуальных преступлений, совершаемых евреями. Это наглядно иллюстрировалось антисемитскими карикатурами и преподносилось в качестве криминальной хроники.

Правительство приняло специальный закон об охране республики от терроризма и экстремизма правых и левых партий. В ответ крайние правые призвали к маршу протеста из Мюнхена в Берлин и

устроили путч в Мюнхене. Крайние левые разжигали беспорядки в Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и Руре. В Берлине началась всеобщая забастовка. Президент Эберт ввел в Германии чрезвычайное положение.

Жалованья, которое доктор получал в клинике, не хватало на жизнь, приходилось заниматься частной практикой. Карл успешно лечил психоневрозы, алкоголизм и наркоманию, редко прибегая к жестоким средствам, используя в основном психотерапию и гипноз. Скоро он стал популярен, к нему обращались отпрыски богатых семейств, высокопоставленные военные.

Среди военных было много алкоголиков, морфинистов и просто психопатов. Аристократы нюхали кокаин, курили опиум, страдали сексуальными расстройствами.

Одним из первых частных пациентов Карла стал пехотный полковник Густав Шамке. Высокий широкоплечий красавец с благородной сединой, мужественным лицом, он казался воплощением здоровья, уверенности, спокойствия. Из-за контузии у него случались приступы ярости.

К доктору он обратился после того, как избил свою жену. У них было трое детей, никто не хотел скандала, родственники жены поставили условие: если Шамке станет лечиться, его простят. В противном случае – огласка, позор, увольнение из армии.

На первом же сеансе гипноза доктор выяснил, что приступы ярости связаны с фобией, красавец полковник до смерти боится случайно выболтать секреты «Черного рейхсвера». Страх замещался агрессией.

Все в Германии знали, что «Черный рейхсвер» был создан генералом фон Сектом, чтобы втайне от стран-победительниц увеличить численность германской армии. Для конспирации войска «Черного рейхсвера» называли «Трудовыми отрядами», они насчитывали около двадцати тысяч человек.

Под гипнозом полковник рассказал, что внутри армии действует тайное общество «Организация Консул», сокращенно «ОК». Это «ОК»

возродило традиции средневековых судов феме. В глубокой тайне группа посвященных выносит смертные приговоры и организует убийства, обставляя банальную уголовщину жуткими старинными ритуалами. Жертвы боевиков «ОК» – коммунисты, социал-демократы, политики Веймарской республики, которые не придерживаются радикально-националистических взглядов, обычные люди, случайно оказавшиеся свидетелями тайной деятельности «ОК», сами посвященные, в чем-то провинившиеся перед своими товарищами, заподозренные в предательстве, или просто те, кого сочли ненадежными.

Шамке монотонным голосом рассказывал готические ужасы в духе Гёте и Вальтера Скотта с пещерами, замками, масками, кинжалами, кровавыми клятвами. Доктору хотелось думать, что все это болезненные фантазии контуженого полковника. Шамке называл фамилии реальных жертв политических убийств, случившихся за последние два года, и фамилии известных генералов, офицеров, членов «ОК».

Иногда во время этих сеансов доктору приходила мысль обратиться в полицию, но он тут же одергивал себя. Если Шамке говорит правду, получается, половина офицеров германской армии параноики, уголовные убийцы. Тогда обращаться в полицию бессмысленно и опасно для жизни. Если Шамке бредит, то можно попасть в глупейшее положение, лишиться не только частной практики, но и работы в клинике. В любом случае доносить на доверившегося ему пациента доктор считал подлым делом.

За несколько сеансов он научил полковника расслабляться, снимать внутреннее напряжение, внушил уверенность, что Шамке вполне способен контролировать себя, сдерживать ярость и хранить «военные тайны». Полковник оказался легким пациентом. На самом деле ему просто надо было выговориться, поделиться своими страхами.

Прощаясь, Шамке обаятельно улыбнулся и сказал: «Вы, герр доктор, некоторым образом прошли посвящение, вам теперь

известно то, что знать опасно». Это прозвучало как угроза, впрочем сдобренная щедрым гонораром.

Доктор хотел бы забыть все, что слышал от Шамке, но не получалось. Мир вывернулся наизнанку. Душевнобольные в клинике казались более адекватными и здоровыми, чем люди за стенами клиники, – на улицах, в учреждениях, магазинах и пивных. Послевоенный Берлин напоминал гигантскую палату буйных психопатов, лишенных медицинской помощи и охраны. На митингах и демонстрациях орали, трясли кулаками, дрались, размахивали транспарантами.

Врачи, коллеги Карла, вчера еще разумные, здоровые люди, сегодня возбужденно повторяли паранойяльный бред о всемирном еврейском заговоре, неполноценности славянской расы и сверхполноценности арийцев. Многие стали активными членами «Евгенического общества», намеревались улучшить человеческую природу с помощью искусственного отбора.

Мода на евгенику выплеснулась за стены университетов и клиник, превратилась в повальное помешательство. Каждый проповедник идей искусственной селекции считал себя высшим существом, к людям относился, как к домашним животным, которых можно кастрировать или скрещивать по своему усмотрению. Мания величия, мессианский бред, сверхценные идеи всемирного заговора и собственной избранности, нравственная идиотия – все эти патологии становились нормой, заражали атмосферу германских городов. По мере размягчения мозгов твердели кулаки, закалялись орущие глотки, глаза стекленели, теряли способность видеть объективную реальность, если таковая существовала в послевоенной Германии.

Карл старался не читать газет. Эльза жадно читала газеты. Она была убеждена, что взрослый образованный человек обязан разбираться в политике и понимать, что происходит в стране, какие существуют партии, чем нацисты отличаются от коммунистов.

– Одни разжигают расовую ненависть, другие классовую, вот и вся разница, и те и другие считают себя элитой, сверхлюдьми. Чтобы это выяснить, не надо поглощать их пропагандистский бред в таком количестве, – говорил Карл.

– Ты ничем не интересуешься, кроме своих сумасшедших! – злилась Эльза. – Если все будут такими равнодушными и безучастными, начнутся ужас, революция и гражданская война, как в России.

– Эльза, дорогая, ты правда веришь, что, как только доктор психиатрии Карл Штерн станет читать газеты и трепаться о политике, наступят всеобщее примирение и благоденствие?

– Карл, ты невозможный человек! Надо хотя бы знать, что происходит!

– Эльза, мне все рассказывают мои пациенты. Поверь, я в курсе всех нынешних помешательств, от социал-дарвинизма до оккультизма.

Карл не любил спорить, работа с душевнобольными изматывала, сжирала силы. Дома хотелось покоя и тишины. Он добродушно отшучивался, когда Эльза выплескивала на него все прочитанное в газетах и требовала ответных эмоций. Он понимал, что за ее болезненным интересом к политике прячется страх. Она тяжело пережила гибель брата, четыре года ждала Карла с войны и боялась, что его тоже убьют. Ей хотелось жить в безопасном мире, а вокруг творилось черт знает что.

Отто исполнилось четыре года. Однажды Карл увидел среди его игрушек флажок со свастикой. Отто рассказал, что флажок ему дал большой мальчик, когда они гуляли с няней в парке. У кого есть такой флажок, тот против евреев. Евреи – страшные подземные чудовища, они убивают немецких детей и пьют их кровь.

– Вот! Скоро тебе придется лечить от паранойи собственного сына! – крикнула Эльза.

Она схватила флажок, попыталась порвать его, но ткань оказалась крепкой, Эльза сломала древко, поцарапала руку и расплакалась,

вслед за ней заревел Отто.

Был холодный ноябрьский вечер, Отто уже лежал в постели, они с Эльзой просто зашли поцеловать его на ночь.

Лучше бы Карл оставил в покое этот проклятый флажок, не трогал его и ни о чем не спрашивал ребенка. Получилось ужасно. Отто, увидев, что мама плачет и у нее на руке кровь, затрясся от рыданий. Эльза настолько расшатала себе нервы чтением нацистских и коммунистических газет, что у нее случилась настоящая истерика. Руку она не просто поцарапала, в ладонь впилась глубокая заноза. Карлу с трудом удалось ее вытащить. Он промыл и забинтовал руку Эльзы, объяснил Отто, что евреи обычные люди и не надо верить всяким глупостям. Ребенок долго не мог уснуть, всхлипывал, вертелся.

Когда, наконец, легли в постель, Эльза, ослабевшая от слез и боли, прижалась к нему и прошептала:

– Карл, как звали того ефрейтора?

– Какого ефрейтора?

– Ну того, у которого была истерическая слепота в последние дни войны в Померании, ты помнишь его имя?

– Помню. Адольф Гитлер. А что?

– Он теперь лидер нацистов, страшно популярен в Баварии, многие приходят слушать его выступления. Он устроил путч в Мюнхене.

– Эльза, перестань, что за ерунда? Я не видел более жалкого и нелепого существа, чем Адольф Гитлер.

Она хотела возразить, но он не дал, зажал ей рот поцелуем.

* * *

До открытия второго показательного процесса остались считанные дни. Товарищ Сталин был занят чтением и редактированием протоколов допросов. Он тратил на это многие часы, двусторонним

карандашом с красным и синим грифелями делал свои пометки, вычеркивал фразы, иногда целые абзацы, вписывал новые.

Полгода назад, перед первым показательным процессом, он преспокойно отправился отдыхать в Сочи. Сейчас торчал в Москве, никуда дальше Кунцева не ездил. Его мучила бессонница, он мог нагряться в Кремль раньше обычного, отечный, хмурый, изрыгающий матерную брань вместе с дурным запахом изо рта. Впрочем, это его состояние считалось добрым знаком и не предвещало беды. Обычно, готовясь кого-нибудь сожрать, товарищ Сталин был флегматично спокоен, приветлив, улыбчив, отпускал соленые шутки.

В отсутствие Инстанции воздух в кремлевских коридорах делался чище, мягче, лица охраны, прислуги, чиновников – расслабленнее, живее. Но может быть, Илье так казалось? Все равно эти люди, от уборщиц до секретарей ЦК, даже в отсутствие Инстанции выказывали паническую преданность Инстанции, боялись и тайно ненавидели друг друга, в их разговорах, улыбках, жестах сквозила невозможная фальшь. Не хотелось никому заглядывать в глаза.

Позади слышались шаги. По коридору шел Молотов. Его квадратная голова с прядками поперек лысины покачивалась на тонкой шее, как у китайского болванчика. Коренастая фигура в сером кургузом пиджачке излучала смертельную бюрократическую скуку, от которой сводило скулы. Плоское бульдожье лицо имело сосредоточенно-тупое выражение, отпечаток исключительного трудолюбия. Ленин называл его «каменной жопой». На самом деле весь он состоял из какого-то пористого серого вещества вроде пемзы. Глядя на него здесь, в кремлевском коридоре, невозможно было представить, как он ест, спит с женой, целует дочь. Казалось, товарищ Молотов питается бумагой, пьет чернила, спит на рабочем месте, упав лицом на стол (вот почему оно такое приплюснутое), и снится ему исключительно Хозяин, никого другого он не смеет видеть и слышать, даже во сне.

– Доброе утро, товарищ Молотов.

Квадратный череп дернулся, обозначив небрежный кивок. Блеснули стекла пенсне и глянец лысины под штриховкой жидких прядок.

Илья отпер дверь своего маленького кабинета, прошмыгнул внутрь. В унисон с тихим хлопком двери у него стукнуло сердце. Что-то не так в сводке, что-то упустил или, наоборот, добавил свое. Нужно перечитать, проверить, пока не поздно.

Он достал папку из сейфа. Сердце продолжало постукивать в ускоренном ритме, руки тряслись, он с трудом развязал ленточки папки, пробежал глазами страницы.

Слишком много цитат, слишком они длинные, а собственных его комментариев мало. Он отчетливо услышал негромкое замечание Инстанции: «Это работа машинистки, товарищ Крылов. Не вижу ваших собственных соображений».

В кабинетном сейфе лежал первый вариант, там прямые цитаты были сокращены до предела, преобладали собственные соображения и выводы товарища Крылова.

Сутки назад Илья, перечитав этот вариант, чуть не разорвал его. Чем больше собственного текста, тем выше риск, что твое мнение не совпадет с мнением Инстанции. В лучшем случае Инстанция обматерит, но если несовпадения окажутся серьезными, дни твои сочтены.

«Они и так сочтены, дурак. Они сочтены хотя бы потому, что ты позволяешь себе паниковать. Что тебя напугало? Встреча с механизмом под названием Молотов? Никак нет, товарищ Крылов. Ты просто расслабился. Ты позволил себе сойти с каната в сторону живой реальности. Каток, двадцать восемь фуэте, конная прогулка по ночной Москве, поцелуи, шепот, предложение руки и сердца. Ты спятил, товарищ Крылов. Руки твои дрожат, сердце прыгает. Оно должно принадлежать Хозяину, и больше никому. После самоубийства его жены Надежды он не выносит счастливых браков в близком окружении. Он твое счастье почует, как бы ни старался ты скрыть. Почует, не простит, рано или поздно уничтожит. Забудь о

Маше. Погубишь себя, ее и все семейство Акимовых, включая десятилетнего Васю. Если так приспичило жениться, выбери комсомольскую куклу, живи с куклой и притворяйся счастливым. Притворяйся, но не смей быть счастливым на самом деле, ни минуты не смей».

Все это темным вихрем пронеслось в голове. Он заставил себя успокоиться, убрал назад в сейф первый вариант и принялся не спеша читать тот, который собирался передать Инстанции.

В кабинет без стука заглянул Поскребышев, красная лысина сияла, покрытая испариной, как россыпью бриллиантов. Лицо выражало строгую озабоченность.

– Крылов, у тебя все готово?

– Конечно, Александр Николаевич.

– Ладно, сиди пока, никуда не отлучайся.

Дверь закрылась. Судя по испарине и одышке Поскребышева, Хозяин только что выехал с Ближней дачи.

О существовании этого сверхсекретного объекта знал только узкий круг посвященных. Ближняя дача не упоминалась ни в каких официальных документах. Граждане СССР верили, что вождь всегда в Кремле, не спит, работает круглые сутки, гениальный мозг не выключается ни на минуту, охраняет и приумножает счастье трудящихся масс.

На картах участок в двадцать пять гектаров в районе Кунцева был обозначен как кусок дикого леса. Территорию тайного убежища окружал двойной забор, круглосуточно по окрестностям ходили патрули с собаками. Охранялись все подъезды и подходы. Вокруг главного дома, приземистого, довольно уродливого, выкрашенного в ядовито-зеленый цвет, было шесть постов, с телефонами. На постах дежурили по два офицера, у каждого автомат, кольт, наган и нож.

Дорога от Кремля до Ближней занимала пятнадцать – двадцать минут. Это короткое путешествие превращалось в самый сложный ритуал, таинственное действие со множеством участников.

Кортеж состоял из четырех автомобилей. Любимыми моделями были «линкольн», «паккард», ЗИС, выполненные по спецзаказу, с толстыми бронированными стеклами, с откидным сиденьем в центре салона. До последнего момента охрана не знала, какой из четырех автомобилей выберет Хозяин. Он усаживался на откидное сиденье, с ним садились два офицера, сзади «первый прикрепленный», спереди, рядом с водителем, «второй прикрепленный», живые щиты Инстанции.

Кортеж выезжал из дачных ворот номер один на большой скорости. Товарищ Сталин любил быструю езду. Впереди мчалась основная машина с Хозяином на откидном сиденье. За ней следовали две машины сопровождения и одна резервная, в каждой по четыре вооруженных офицера.

По узкой неприметной трассе, через молодой лесок кортеж вылетал на Можайское шоссе, мчался по мосту над кольцевой железной дорогой к Дорогомиловской заставе. Дальше – Смоленская площадь, Арбат, улица Фрунзе, наконец, Боровицкие ворота Кремля.

На шоссе, на мостах, на улицах и площадях, в домах вдоль спецтрассы, в гастрономе на Смоленской, в театре Вахтангова на Арбате, в галантереях и булочных, на трамвайных остановках и возле газетных ларьков круглосуточно обитали видимые и невидимые сотрудники НКВД, готовые при малейшем подозрении перегрызть глотку любому случайному прохожему.

Илья достал из кармана пятак, поставил на ребро, крутанул. Монета долго вертелась, наконец, упала решкой вверх.

«Сегодня не вызовет, – подумал Илья. – Можно расслабиться».

Пятак был старый, дореволюционный, он никогда не обманывал. Настасья вручила его Илье после окончания школы и велела класть в правый ботинок «на удачу». Почему именно в правый, не объяснила. Илья с пятаком не расставался, но в ботинок не клал, носил в кармане брюк.

Вызовет или не вызовет – на этот вопрос пятак всегда отвечал точно. Несколько минут пути по коридорам хватало, чтобы собраться, настроиться и предстать перед Инстанцией в полной боевой готовности. Но случайные встречи пятак предсказать не мог.

Однажды, на втором году службы в Секторе, Илье довелось столкнуться с товарищем Сталиным лицом к лицу в коридоре, совершенно неожиданно. Хозяин остановился и с минуту глядел в глаза.

Лицо Великого Вождя вблизи, при ярком свете, выглядело страшно. Отечное, рыхлое, усыпанное глубокими оспинами и пигментными пятнами, оно казалось слепленным из комьев серой влажной земли, желтые глаза мерцали, как гнилушки из темноты. Помня наставления Товстухи, Илья не отвел взгляд. Какой-то рычаг щелкнул и повернулся внутри. Спецреферент настроился на волну абсолютной любви и преданности. В голове громко запел пионерский хор:

Если б Сталина родного
я бы в жизни повстречал,
я бы Сталину родному,
другу нашему, сказал:
«Дорогой товарищ Сталин,
вождь великий Октября,
это вы мне счастье дали,
в люди вывели меня!»

Песенка часто звучала по радио. Вероятно, она имела силу магического заклинания. Лицо «Друга нашего, Вождя великого» волшебным образом преобразилось. Исчезли вмятины и пятна, кожа стала гладкой, приятно смуглой, благородно вырос лоб, утончился нос, глаза из желтых сделались шоколадно-карими.

Слова и бодрый мотив пионерской песни точно соответствовали чувствам и мыслям спецреферента Крылова. Он обожал товарища Сталина, верил, что без товарища Сталина, как без солнца, воздуха и воды, нет жизни на земле.

– Здравствуйте, товарищ Сталин.

– Привет, – мрачно буркнул вождь и пошел дальше по коридору.

Небрежное «привет» было счастливым знаком. К тем, кого Хозяин готовился слопать, он всегда обращался подчеркнуто вежливо и многословно.

Очутившись в своем кабинете, Илья сел за стол, зажал рот ладонью – у него началась мучительная икота, он дотянулся до графина, попытался глотнуть воды прямо из горлышка, толстое стекло стукнуло о зубы, струйка потекла мимо рта, тяжелый графин едва не выпал из рук, а пионерская песня продолжала звучать в голове. Илья хотел заглушить ее какими-нибудь собственными мыслями, но их не оказалось, только песня, слова и мотив. Вторая попытка глотнуть воды была успешнее первой, удалось сделать несколько больших глотков, но икота не прошла.

Божественно гладкое, лучезарно смуглое лицо Великого Вождя плавало перед глазами, пионерский хор наяривал:

Дружно страна и растет и поет,
с песнею новое счастье кует,
глянешь на солнце – и солнце светлей,
жить стало лучше, жить стало веселей!
Хочется всей необъятной страной
Сталину крикнуть: «Спасибо, родной!»
Долгие годы живи, не болей,
жить стало лучше, жить стало веселей.

Дернувшись от очередного ика, Илья чуть не свалился со стула, больно ударился коленом об угол стола и в коротком промежутке перед следующим иком четко произнес:

– Музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача.

Рычаг опять щелкнул и повернулся. Хор смолк. Илья задрал штанину, морщась от боли, потрогал красный рубец на колене. Еще пару минут продолжался звон в ушах, но уже проснулись, слабо зашевелились собственные мысли. Первой из них стало далекое детское воспоминание, слова отца «предсмертная икота». Кто умирал, Илья не помнил, осталось только пугающее сочетание слов.

– Предсмертная икота. Переход в сталинскую реальность – это смерть, – прошептал Илья, налил в стакан воды из графина, выпил мелкими глотками, потом задержал дыхание.

На выдохе икота прекратилась. Илья бессильно откинулся на спинку стула и подумал: «Интересно, сколько людей здесь, в Кремле, и вообще в СССР постоянно пребывает в таком заколдованном состоянии?»

Чтобы успокоиться, он стал крутить свой пятак. Монета упорно падала орлом вверх. Вызов последовал через полчаса. На столе перед Хозяином лежал доклад Ягоды, три абзаца, посвященные персонально спецреференту Крылову. Хозяин протянул бумажку Илье, дал прочитать.

Ягода докладывал о неблагонадежности спецреферента Крылова, о том, что на него поступают сигналы, а сам он никаких сигналов ни на кого не посылает.

«Затаившийся враг маскируется под добросовестного работника, коварно искажает в своих сводках важные внешнеполитические моменты. Ведет замкнутый аморальный образ жизни. Двuruшник. Имеет доступ к сверхсекретным документам и пользуется этим во вражеских шпионских целях».

Нарком внутренних дел Ягода испытывал к спецреференту Крылову личную неприязнь. Ягоде хотелось, чтобы на этой должности сидел его человек. Никаких прямых контактов у Ильи с Ягодой не было, но неприязнь он чувствовал, ждал какой-нибудь гадости. И вот дождался.

Пионерские песни больше не звучали в голове, икота не повторялась, рычаг не щелкал. Илья успокоился, сосредоточился и вполне хладнокровно настроился на волну Великого Вождя.

Донос Ягоды оказался совершенно пустым, так, общие слова. При желании нарком внутренних дел мог бы нарыть кое-что интересное, например о происхождении спецреферента Крылова. Значит, не стал рыть? Или есть еще другие бумажки?

Пока Илья читал, Хозяин не сводил с него глаз. Наконец очень тихо, мягко спросил:

– Ну, что скажете в свое оправдание, товарищ Крылов?

Илья пожал плечами и, с детской доверчивостью глядя в глаза Инстанции, смущенно произнес:

– Товарищ Сталин, вы же знаете, какая сволочь Ягода.

Ответ понравился. Товарищ Сталин усмехнулся и с удовольствием повторил слово «сволочь».

Если бы Илья стал оправдываться, если бы на мгновение отвел взгляд или дрогнул мускул на лице, тогда все, конец. Но получилось очень удачно, и даже врать не пришлось. Спецреферент Крылов сказал искренне, что думал.

Это было в сентябре 1935-го. Ягоде оставалось занимать пост комиссара внутренних дел еще год. В сентябре 1936-го он был назначен наркомом связи, а его место занял товарищ Ежов, тихий чахоточный карлик с большими голубыми глазами. В отличие от Ягоды, он ни к кому не испытывал личной неприязни, в том числе и к спецреференту Крылову.

Глава четвертая

Доктор Штерн оказался прав в своих оптимистических прогнозах. Германия успокоилась. Марка росла, безработных становилось все меньше. С улиц исчезли свастики, серпы и молоты, вчерашние оголтелые демонстранты превратились в мирных, сытых, добропорядочных бургеров.

Эльза вместо газет читала детям сказки Андерсена, Гофмана, братьев Гримм, играла на фортепиано, разучивала с детьми забавные песенки, учила их рисовать. Ее акварельками и каракулями мальчиков были увешаны стены квартиры. На праздники и дни рождения собирались гости, Эльза сама пекла яблочные штрудели, взбивала сливки.

В июле 1929-го их младшему сыну Максу исполнилось пять лет. В честь дня рождения был устроен пикник на лужайке у озера в Тиргартене. Среди гостей оказался один из пациентов Карла, военный летчик Пауль Вирте с женой и дочерью Магдой, ровесницей Макса.

Подарок, который вручила маленькая Магда, затмил все остальные. Это была искусно сделанная модель «юнкерса», в кабине сидела крошечная фарфоровая фигурка летчика, за стеклышками иллюминаторов – пассажиры. Игрушка разбиралась, можно было вытащить и рассмотреть фигурки.

– Я летаю на таком, только настоящем, – сказал Вирте и, взъерошив волосы Макса, добавил: – Благодаря твоему папе.

Вирте, высокий жилистый блондин с квадратным безбровым лицом, обезображенным шрамами от ожогов, был из тех, кому война казалась смыслом жизни. В последние дни войны он умудрился посадить горящий самолет на вражеской территории, обгорел, получил две французские пули в бедро, каким-то чудом переполз линию фронта, избежал плена, выжил, и даже ногу удалось сохранить. Но раны давали о себе знать, он не справлялся с болью,

подсел на морфий. Карл работал с ним два года, и, когда ни врач, ни пациент уже не верили в успех, Вирте вдруг обнаружил, что может обходиться без наркотика все дольше, а скоро вообще избавился от зависимости.

– Я летаю, я живу! Некоторые мои однополчане тоже вылечились, но потеряли здоровье, – говорил Вирте, потягивая легкое рейнское вино и дымя сигарой.

Был чудесный нежаркий день в перламутровой дымке. Озеро, обрамленное плакучими ивами, светилось под бледным размытым солнцем. Пахло свежескошенной травой, старые липы медленно покачивали кронами, трепетали, играли светом влажные листья. Лениво зарядил редкий дождик, но раздумал, вместе с дождиком налетел легкий прохладный ветер, похожий на вздох, на сладкий зевок проснувшегося ребенка, и сразу выглянуло солнце, лучи запрыгали по глади озера, встрепенулись толстые утки, захлопали крыльями, разбрасывая сияющие брызги.

– Послушайте, Карл, у меня есть друг, летчик-истребитель, настоящий ас, мой бывший командир в первой эскадрилье «Рихтгофен», – кашлянув, произнес Вирте. – Я рассказал ему о вас, он очень заинтересовался.

Карл слушал рассеянно, смотрел на детей. Десятилетний Отто, в начале праздника державшийся надменно, как самый взрослый среди малышей, теперь оседлал коня на колесиках, которого подарили Макс, и, отталкиваясь ногами от земли, гонялся за белокурой Ирмой, внучкой главного врача клиники, вопил:

– Я неуловимый ковбой, гроза диких прерий!

Ирма с перьями на голове изображала индейца, бегала зигзагами, постукивала себя ладошкой по рту, выпускала боевой индейский клич. Руди и Фреди, шестилетние близнецы, играли в мяч с Магдой. Только Макс спокойно сидел возле отца и возился с игрушечным «юнкерсом».

– Недавно он стал депутатом рейхстага, из него выйдет отличный политик, не в пример нынешним, он настоящий солдат, сильный,

решительный, – продолжал Вирте.

– Кто? О ком вы? – спросила Эльза.

Она подошла неслышно, вместе с Моникой Рон, своей гимназической подругой, матерью близнецов.

– Я мучаю Карла фронтовыми историями, – ответил Вирте слишком поспешно, с такой искусственной улыбкой, что доктору стало не по себе.

– Карлу хватает собственных военных воспоминаний, – заметила Моника, слегка нахмурившись.

Ей Вирте явно не нравился. Эльза, мигом почувствовав неловкость, предложила всем холодного лимонаду, присела на корточки возле Макса.

– Угости детей, – сказал Карл. – Только смотри не клади слишком много льда.

– Лед давно растаял, – Эльза поправила панамку на голове Макса.

Вирте продолжил разговор о своем героическом друге только когда дамы отошли. Он перечислил боевые награды бывшего командира эскадрильи: орден «За заслуги», Железный крест первой степени, орден Льва со шпагой, орден Карла Фридриха, орден Гогенцоллернов третьей степени со шпагой. Доктор уже понял, к чему Вирте завел этот разговор. Депутат рейхстага нуждался в конфиденциальной медицинской помощи.

– Да, ваш друг настоящий герой. В чем его проблема?

– Он сам расскажет, – ответил Вирте. – Он хочет встретиться с вами, Карл.

– Пауль, вы знаете мои приемные дни, пусть запишется на прием.

– Нет, Карл, простите, но будет лучше, если вы сами посетите его. Он придет за вами своего шофера во вторник, в девять вечера.

– Пауль, но я посещаю пациентов на дому только в экстренных случаях.

Макс, все это время молчавший, потянул отца за рукав.

– Папа, смотри!

На белой салфетке были разложены фарфоровые фигурки, извлеченные из «юнкерса».

– Смотри, это летчик, а вот пассажиры.

Карл стал рассматривать фигурки. Он был рад отвлечься. Разговор стал раздражать его. Слишком таинственно и восторженно говорил Вирте о своем командире. Во вторник, в девять вечера, Карл действительно был свободен. Вирте знать этого не мог, и ничего не стоило отказаться.

– Папа, видишь, это летчик, а вот я, вот Отто и мама, – Макс, стоя на четвереньках, показывал пальчиком на фарфоровые фигурки.

Карл разглядел крошечного летчика в шлеме, даму в синем платье, двух мальчиков в матросских костюмах.

– Макс, а где же я?

– Тебя нет, мы трое полетели, ты остался в Берлине.

Карл вместе с Максом усадил фигурки в самолет. Они крепились магнитами. Игрушку собрали, прибежали близнецы, позвали Макса играть в жмурки, но он не желал выпускать «юнкерс» из рук.

Прощаясь, Вирте еще раз повторил, что во вторник, в девять, за доктором приедет машина.

– Пауль, вы не сказали, как зовут вашего командира.

– Карл, прошу вас, сами понимаете, все строго конфиденциально. Его имя Герман Геринг.

* * *

О собрании Маша совсем забыла, но, конечно, пришлось вспомнить. Пригнали всех, кто работал в филиале Большого, включая осветителей, декораторов, костюмерш, уборщиц, гардеробщиц независимо от возраста и партийности. Зал оказался почти полным, только в десятом ряду никого, кроме Лиды. От нее шарахались. Маша, не раздумывая, уселась рядом, на соседнее

кресло. Лида как будто не заметила ее, не повернула головы. Она сосредоточенно вязала.

На сцене за столом восседало комсомольское бюро в полном составе плюс незнакомая квадратная тетка в пиджаке с морковными стриженными волосами и подбородком, похожим на розовое жабо.

Сначала все шло как обычно. Член бюро, серенький хмырь из канцелярии, зачитал доклад. Комсомол – передовой отряд, доверие партии, происки врагов, обострение классовой борьбы, как гениально отметил наш Великий Вождь товарищ Сталин...

После каждого упоминания Сталина зал аплодировал, Маша автоматически била в ладоши. Условный рефлекс. И вдруг она заметила, что Лида продолжает вязать. Это ошеломило Машу. Человек, не отвечающий аплодисментами на имя вождя, выглядел как голый среди одетых.

– С ума сошла? – испуганно прошептала Маша.

– А ты отсядь от меня, чтоб не замараться, – ответила Лида, спокойно двигая спицами.

Доклад длился минут сорок, из которых почти половину времени заняли аплодисменты. Хмырь из канцелярии упоминал Сталина через фразу, и каждый раз хлопали очень долго. Никто не решался закончить первым. Маша чувствовала, как фокусируются взгляды президиума на Лиде. Со сцены отлично просматривался весь освещенный зал.

Продолжая машинально отбивать ладони, Маша повторила попытку, прошептала:

– Они смотрят на тебя, брось ты свое вязание, похлопай, жалко, что ли?

– Извергу хлопать не буду.

У Маши пересохло во рту, она решила, что ослышалась, ну, или в крайнем случае Лида имеет в виду хмыря-докладчика. Когда затихли последние овации, поднялся комсорг, высокий рыхлый мужик из отдела кадров, остриженный под ноль, с пышными буденновскими усами.

– Товарищи, сегодня у нас на повестке персональное дело комсомолки Русаковой. Отец Русаковой арестован и разоблачен как враг народа, фашистский шпион и вредитель. Все вы читали об этом в «Правде». Он входил в крупную террористическую организацию, пронизавшую своими щупальцами тяжелую промышленность, имел связь с иудой Троцким и его империалистическими фашистскими хозяевами. Такие русаковы, подобно ядовитым змеям, пригреваются на теплой груди нашего Советского государства и готовы жалить смертельно, отравлять своим троцкистским ядом нашу счастливую жизнь.

Пока он говорил, многие головы в передних рядах поворачивались. Машу знобило от взглядов. Лида продолжала вязать. Тетка с подбородком-жабо тронула руку комсорга, он сел, тетка встала.

– Товарищи, когда я шла сюда, мне вспоминались слова товарища Сталина о том величайшем доверии, которое наша партия оказывает молодежи.

Зал опять захлопал. Тетка воспользовалась паузой, чтобы пролистать бумажки на столе. Нашла нужную, подняла голову, обратилась к затихшему залу.

– Товарищи комсомольцы, молодая поросль, артисты оперы и балета! Я обращаюсь к вам. Вы сегодня выступаете на малой сцене, завтра выйдете на большую. Что такое сцена Большого театра? Это не просто сцена, на которой поют и танцуют избалованные примы и примадонны, как было в старые времена. Это передовая идеологического фронта нашего советского, большевистского искусства. На вас, товарищи комсомольцы, лежит огромная ответственность. Вы должны быть бдительны, бдительны и еще раз бдительны. Вы обязаны очищать здоровый организм вашего коллектива от тайных врагов, двурушников, хитростью проникших в ваши ряды. Это, если хотите, элементарные правила гигиены. Каждому необходимо мыть руки, чтобы не проникли в организм бактерии и паразиты.

В зале кто-то вежливо хихикнул. Тетка сделала паузу. По ее лицу было видно, что она ждала более живой реакции на свое остроумное сравнение. Не дождавшись, продолжила сухо, с некоторым сарказмом:

– Товарищи, перед собранием я внимательно ознакомилась с личным делом балерины Русаковой. И что я увидела? Все характеристики самые положительные. Старательная, дисциплинированная, и в пионерской организации, и в комсомольской Русакова проявила себя как активистка, хороший товарищ.

– Русакова, встань! – крикнул комсорг.

Лида вязала, ни на кого ни глядя. Повисла тишина. Маша вжалась в спинку своего кресла и зажмурилась, как будто ее сейчас ударят.

– Встань, Русакова, выйди вперед!

Никакой реакции. Тишина.

– Что, паралич разбил? Акимова! Помоги ей встать!

Маша открыла глаза, но не могла шевельнуться. Зал загудел, со всех сторон слышались голоса, громкие, приглушенные, мужские и женские:

– Встань, выйди, Русакова...

– Не дури, все равно придется...

Спицы замерли, руки Лиды быстро сложили вязание в мешочек.

– Пропусти, – услышала Маша сквозь гул.

Лида положила к ней на колени свой мешочек, направилась к сцене легкой балетной походкой. Стало тихо. Подойдя к рампе, спиной к залу, лицом к президиуму, Лида спросила:

– Мне здесь стоять? Или подняться на сцену?

– На сцену. Чтобы все тебя видели, – скомандовал комсорг.

Лида легко взлетела по лесенке. Встала возле стола. Спина прямая, взгляд в никуда, вверх голов.

– Ну, давай, Русакова, расскажи коллективу, как так получилось, что рядом с тобой под видом близкого родственника столько лет

жил и действовал матерый враг, а ты ничего не замечала? – спокойно, задушевно спросила тетка.

– Или не хотела замечать, – дополнил вопрос комсорг.

– Он не под видом родственника. Он мой родной папа. И он ни в чем не виноват. – Лида произнесла это тихо, но все услышали.

– То есть ты хочешь сказать, что наши доблестные органы, наш советский суд ошиблись?

– Ошиблись.

– Нет, Русакова, ошиблась ты, ошибся твой отец, когда надеялись, что все сойдет с рук, полагались на слепоту, глухоту и прекраснодушный либерализм. Он, и ты, и все вы, тайные наши враги, просчитались! Судя по тому, как ты упорно выгораживаешь врага, ты сама враг, ты действовала заодно с врагом, ты вынашивала злые планы, ядовитым вражеским дыханием своим отравляла воздух, в котором жили и творили честные комсомольцы, считавшие тебя, злую змею, своим товарищем.

Это был монолог тетки, она говорила долго, громко, с тяжелым придыханием, пока не рухнула на свой стул, обессиленная, томная.

На сцене, на месте Лиды, Маша вдруг отчетливо увидела себя, но не такую прямую, как Лида, а сутулую, с повисшими руками, подогнутыми коленями, низко опущенной головой, медленно оседающую, зыбкую, мягкую. Тело без костей. Она пыталась прогнать эту жуть. Ей хотелось лишиться слуха, зрения, сразу всех чувств и мыслей, превратиться в Аистенка, улететь в Африку.

После тетки заговорил комсорг, потом еще кто-то из бюро, потом из зала. Маша услышала звонкий голос Светки Борисовой:

– Виноват весь наш коллектив, не разглядели, не проявили комсомольскую бдительность, впредь обещаем проявлять бдительность комсомольскую по-большевистски, следуя отеческим указаниям нашего великого товарища Сталина, вождя нашего гениального всех народов мы, бойцы советского балета, обязаны высоко нести гордое знамя партии большевиков партии Ленина Сталина гениального великую честь и доверие нашей бдительности...

Маша перестала различать слова, в ушах гудело, голова кружилась. Страх, что сейчас прозвучит ее фамилия, придется встать и тоже что-то говорить, жгуче поднимался от желудка к горлу, как тошнота при отравлении.

Лида стояла прямо, ноги в третьей позиции, руки спокойно опущены, подбородок приподнят. Если к ней обращались, она повторяла все ту же фразу:

– Мой папа ни в чем не виноват.

Только однажды, когда тетка, отдохнув и набравшись сил, стала призывать ее одуматься, покаяться перед лицом родного коллектива, Лида, повернувшись к комсоргу, произнесла:

– Степан Иванович, я же вам говорила, я от папы отречься не буду.

– Так, товарищи, все ясно, предлагаю поставить вопрос на голосование. Кто за то, чтобы исключить из комсомола Русакову?

Стали поднимать руки. Маша держала на коленях мешочек с Лидиным вязанием, ладони как будто припекло к тонкому, мягкому батисту. В тишине взгляды комсорга и тетки медленно ползли по рядам. У Маши ныло правое плечо, так сильно, будто все суставы вывихнулись. Она одна сидела в десятом ряду. В одиннадцатом, справа от нее, сидел Май. У самого уха она услышала его дыхание и быстрый шепот:

– Подними руку, не будь идиоткой, ей не поможешь, себя погубишь, поднимай, ну же! – Май протиснул левую кисть между спинками, нащупал Машин локоть, резко толкнул вверх.

Рука взметнулась в тот момент, когда внимательные взгляды из президиума доползли до десятого ряда.

Глава пятая

Ночные визиты к депутату рейхстага Герману Герингу изматывали Карла. Каждый раз, возвращаясь домой в третьем часу утра, он чувствовал себя грязным и разбитым. Если бы этот жирный психопат был обычным пациентом клиники, доктор отнесся бы к нему с должным состраданием. Но вместо того, чтобы лежать в клинике, Геринг заседал в рейхстаге, пользовался уважением и симпатией промышленных тузов, крутился в аристократических салонах, считался влиятельным политиком, умницей, обаяшкой, германским Гаргантюа. Он любил показывать гостям свою игрушечную железную дорогу. Над ней летали по проволоке игрушечные самолеты и сбрасывали деревянные бомбочки. Широкие карманы его галифе всегда были наполнены крупными изумрудами, рубинами, сапфирами, он доставал их, перебирал, пересыпал из ладони в ладонь.

Доктор знал, что Герман Геринг представляет в рейхстаге крайне правую нацистскую партию, конечно, слышал имя лидера этой партии, видел портреты и упрямо не желал верить, что бедняга ефрейтор Гитлер, которого довелось ему лечить в последние дни войны, и лидер крупной политической партии – одно лицо. Но приходилось верить. С плакатов, со страниц газет, с афишных тумб, с парадного портрета, висевшего в гостиной Геринга, смотрел на доктора бедняга ефрейтор собственной персоной, только усы подстриг, они стали маленькими, как у знаменитого американского комика Чарли Чаплина.

Геринг называл Гитлера «шеф». Во время сеансов психотерапии рассказывал, как их первая встреча в Мюнхене перевернула всю его жизнь. Настоящие обильные слезы текли по жирным щекам, Геринг вытирал их батистовым кружевным платочком. На платочке оставались следы розовой пудры. Из-за морфия лицо Геринга было землисто-серым, чтобы выглядеть лучше, он пудрился, подкрашивал

губы. Кроме морфинизма и ожирения, Геринг страдал импотенцией. Во время каждого сеанса за рассказом о встрече с Гитлером следовали откровения о том, какими способами они с Карин решают эту проблему, и слезы продолжали течь, оставляя серые дорожки в слое пудры.

Карин, жена Геринга, красивая сорокалетняя блондинка, шведская аристократка, постоянно болела и встречала доктора в гостиной, полулежа на кушетке под портретом Гитлера.

В гостиной были белые стены, розовые оконные стекла, розовые шторы, розовые ковры, поверх ковров белые звериные шкуры. Напротив камина стоял небольшой белый орган. Кресла, диваны, журнальные столики, кушетка, на которой возлежала Карин, – все бело-розовое, и сама она, в белом домашнем платье, с ярко-розовыми пятнами туберкулезного румянца на скулах, гармонично вписывалась в интерьер. Повсюду белели кружевные скатерочки, салфеточки. Антикварные часы на камине, старинные музыкальные шкатулки, китайский фарфор, шелковые абажуры настольных ламп и торшеров – все сияло белизной и розовостью, как сахарная глазурь на прянике. Только кабинет Геринга был выдержан в строгих зеленых тонах, там стояла тяжелая дубовая мебель, в окнах – витражи, изображающие сцены из жизни средневековых рыцарей.

– Мы с Германом – как Тристан и Изольда. Мы отведали любовного напитка и стали беспомощны в экстазе, – сообщила Карин с томной улыбкой при первом же знакомстве. – Мы не можем жить друг без друга. Вы должны помочь Герману, вы посланец светлых сил, у вас кристально арийское энергетическое поле.

Как ни странно, лечение шло на пользу. Геринг сокращал дозы, растягивал промежутки между инъекциями на несколько суток. Однажды он встретил доктора радостным известием, что к нему вернулась мужская мощь. Доктор поздравил его и предложил закончить лечение. Он устал от этого опереточного семейства, но Карин категорически возражала.

– Совсем скоро Господь призовет меня, я должна быть уверена, что оставляю Германа здоровым, – заявила она со своей обычной томной улыбкой. – Прошлой ночью я говорила с бабушкой, бабушка считает, что Гермону следует продолжать лечение именно у вас. Вы посланы самим Провидением.

Карл вежливо осведомился, сколько лет бабушке, и услышал, что Господь призвал бабушку, когда Карин была ребенком, но между ними существует постоянная духовная связь.

Геринг понял предложение Карла по-своему.

– Намекаете, что пора повесить вам гонорар? Так бы сразу и сказали.

Повышение гонорара оказалось мизерным, но пренебрегать деньгами Карл не мог, нужно было кормить семью.

Германия опять погрузилась в кризис. В октябре 1929-го рухнула Нью-Йоркская биржа, а следом вся европейская экономика. Германия жила за счет промышленного экспорта и американских кредитов. Кризис обрушил курс марки, банкротились банки, закрывались заводы, разорялись крупные и мелкие фирмы, армия безработных росла с каждым днем, выстраивались длинные очереди за тарелкой бесплатного супа, в клинике задерживали жалованье, количество платежеспособных частных пациентов таяло.

Геринг платил скупно, но регулярно. По его рекомендации Карл лечил от неврастении жену крупного банкира, от алкоголизма – пожилую баронессу, от кокаиновой зависимости – сына министра, пассивного гомосексуалиста с тремя попытками суицида в анамнезе.

В сентябре 1930-го на общегерманских выборах за нацистов проголосовало шесть с половиной миллионов избирателей, в результате они получили сто семь мандатов и по количеству депутатов, заседающих в рейхстаге, поднялись с девятого на второе место.

Эльза опять стала читать газеты. Карл не мог. Он вернулся к военному дневнику, перечитал собственные рассуждения о несчастном ефрейторе, которого никто не любит и не ждет, принялся

уговаривать себя, что ни в чем не виноват, просто выполнял свою работу, лечил больного, так же как сейчас лечит свиноподобного депутата Геринга, его приятелей и приятельниц, нацистов и нацисток.

«Такие больные должны содержаться в клинике, – думал Карл. – Все они люди с диагнозом: мания собственной исключительности, помешательство на теории заговора. Но из этого разве следует, что их нельзя лечить? А что, все прочие, кто заседает в рейхстаге, возглавляет министерства, принимает государственные решения, руководит армией, они здоровы? У них те же диагнозы».

В толстой тетради половина страниц осталась чистой, последняя запись была датирована декабрем 1918-го. В сентябре 1930-го появились новые.

«Война выработала во мне стойкое отвращение к политике. Сочетание пафосного вранья, мифов, которые рассчитаны на безмозглых идиотов. Кажется, все так грубо сработано, что поверить невозможно. Но они верят, верят! И вот поневоле начинаешь презирать их, брезговать ими. Если люди позволяют такое с собой делать, значит, даже простой жалости не заслуживают».

Отто нацепил на лацкан гимназической курточки значок со свастикой. Карл снял значок и выбросил. Отто расплакался, сказал, что в гимназии все за Гитлера и он не желает быть белой вороной.

– Карл, но ведь правда, Германией должны руководить сильные, решительные люди, ты разве не видишь, что творится? Папен^[4] ничтожество, чиновники берут взятки, воруют из казны. Да, я согласна, эти нацисты неприятные, шумные, наглые, но ведь Гитлер говорит правду, разоблачает реальную грязь и ложь. Нынешнее правительство никуда не годится, там все заврались и проворовались. В конце концов, мы же не евреи, чего нам бояться? – твердила за ужином Эльза.

На медицинской конференции в Мюнхене Карл встретил нескольких врачей, с которыми работал в госпитале в Пазельвалке в конце войны. Четверо из пятерых вступили в нацистскую партию. Все искренне восхищались Гитлером. На фуршете бывший главный врач госпиталя, потрепав Карла по плечу, сказал:

– Помнишь, ты предрек, что он спасет Германию? Ты оказался пророком, надо выпить за это. Адольф Гитлер спасет, только он, никто другой.

Карл не стал напоминать, что тогда, в ноябре восемнадцатого, все восприняли это как анекдот и долго весело смеялись. Пить отказался, сославшись на головную боль, ушел в гостиницу.

В фойе над стойкой висел портрет ефрейтора. Ночью под окнами орали пьяные штурмовики СА:

«Развесим Гогенцоллернов на фонарях,
пусть эти собаки висят, пока не истлеют веревки.
В синагоге распнем черную свинью
и все церкви забросаем бомбами».

Вместо гостиничной Библии на прикроватной тумбе лежал толстый, в дорогом, с золотым тиснением, переплете, том «Майн кампф». Доктор открыл, пролистал и тут же захлопнул, отбросил, словно прикоснулся к вонючим нечистотам. Книга тяжело шлепнулась на ковер. Утром, выйдя из номера, закрыв дверь на ключ, спустившись к завтраку, бегом вернулся в номер, положил книгу на тумбочку и уверял самого себя, будто делает это из простой вежливости и уважения к порядку, а не потому, что боится доноса горничной.

В заключительный день конференции Гитлер должен был выступить перед врачами с речью. Карла мучили противоречивые

чувства. Ему хотелось удрать домой, не видеть, не слышать психопата ефрейтора, но это казалось трусостью, глупостью.

Эльза говорила, провожая Карла в Мюнхен: «Люди меняются, прошло много лет. Среди поклонников Гитлера не только мелкие бюргеры и домохозяйки, к нему тянутся интеллектуалы, университетские профессора, священники, молодежь от него в восторге. Он говорит правду. Послушай его, Карл!»

На следующее утро в фойе по стенам висели огромные плакаты с портретами Гитлера, торчали флажки со свастикой. Царило необычное возбуждение, голоса звучали громче. По обеим сторонам каждого дверного проема стояли штурмовики. Коричневые рубашки перетянуты портупелями, на рукавах повязки со свастикой. Ноги широко расставлены, руки спрятаны за спину, локти торчат, выражение лиц у всех одинаковое, тупо-надменное, как у олигофренов.

Толпа повалила в зал. Когда публика расселась по местам и затихла, на кафедру поднялся министр здравоохранения Баварии, произнес короткую невнятную речь о долге медицинских работников перед народом, затем, поправив очки, вскинув подбородок, объявил, что имеет честь представить уважаемым коллегам руководителя Национал-социалистической рабочей партии Германии господина Адольфа Гитлера. Последовали бурные аплодисменты.

Ефрейтор появился из боковой двери, быстро прошел к кафедре, и все головы крутились, прослеживали его путь. Он пожал руку министру, в каждом его движении чувствовалась нервная суетливость. Так кинематографический комик изображает бестолкового мелкого чиновника, который страшно занят, постоянно спешит и всем недоволен.

Он ничуть не изменился с 1918-го, выглядел так же убого, и даже отличный костюм-тройка не придавал ему респектабельности. Укороченные усики зрительно расширяли узкую физиономию, но делали ее еще банальнее.

Он оглядел притихший зал. Глаза казались тусклыми, невидящими. Лицо приобрело брезгливое выражение, словно в зале дурно пахло, и вдруг совершенно неожиданно, без всяких приветствий и предисловий, он выкрикнул:

– Мне часто говорят: «Вы всего лишь барабанщик национальной Германии!» Ну и что, если я только бью в барабан?! Сегодня вбить в немецкий народ новую веру было бы большей заслугой государственного масштаба, чем постепенно проматывать существующую веру!

Голос его звучал резко, высоко и хрипло. Он замолчал, уставился вдаль, поверх голов, словно читал какую-то надпись на задней стене зала, потом заговорил тихо, почти зашептал:

– Сегодня мы переживаем поворотный момент судьбы Германии. Если теперешнее развитие событий продолжится, то Германия неизбежно погрязнет в большевистском хаосе. Если же такое развитие событий будет остановлено, то нашему народу придется пройти школу железной дисциплины. Либо удастся снова переплавить весь этот конгломерат партий, союзов, объединений, мировоззрений, сословного чванства и классового безумия в единый стальной народный организм, либо Германия, не добившись такой внутренней консолидации, погибнет окончательно.

Опять последовала пауза, Гитлер сложил руки на груди, потупился, длинная темная прядь, густо смазанная бриолином, упала на лицо, он стоял так довольно долго, как будто забыв о публике.

Публика терпеливо ждала. За мгновение до того, как иссякло ее терпение, он вскинул голову, потряхнул челкой, ударил кулаком себя в грудь и закричал:

– Вы видите здесь перед собой организацию, которая исполнена чувства теснейшей связи с нацией, построена на идее абсолютного авторитета руководства в любой области, на любом уровне. Это организация, вселяющая в своих сторонников неукротимый боевой дух! А если нам ставят в упрек нашу нетерпимость, то мы гордо признаемся – да, мы нетерпимы, мы приняли неумолимое решение

искоренить марксизм в Германии до последнего корешка. Мы приняли это решение вовсе не из любви к дракам, и я вполне могу себе представить жизнь поспокойнее, чем эти вечные метания по всей Германии.

Речь ефрейтора длилась часа два. Крик сменялся шепотом, глаза вспыхивали, как электрические фонарики с голубыми стеклами, гасли, опять вспыхивали. Он ни разу не произнес своего любимого слова «еврей», в аудитории были врачи-евреи, а ему не хотелось скандала, ему хотелось нравиться. Он оказался настолько умен, что не позволил себе рассуждать о медицине, понимал, как не любят профессионалы рассуждений дилетантов. Да, он очень хотел нравиться, и у него это отлично получалось. Полторы сотни докторов, профессоров медицины со всей Германии слушали затаив дыхание.

Содержание речи не имело никакого значения. Смысл двухчасового монолога сводился к следующему: «Только я могу спасти Германию, никто, кроме меня, или я, или всеобщая гибель».

Зал аплодировал ефрейтору стоя. Поднялись все, даже самые пожилые, даже евреи, хотя они отлично знали, как относится к ним нацистская партия. А все равно поднялись и били в ладоши. У Карла не хватило мужества остаться единственным сидящим. Поднимаясь, он неловко грохнул стулом. Именно в этот момент выпуклые голубые глаза уперлись в него, он физически ощутил этот взгляд как прикосновение чего-то холодного и липкого. «Узнал», – пронеслось в голове, а ладони хлопали, хлопали. Никогда еще за всю свою сорокатрехлетнюю жизнь Карл не был самому себе так противен.

* * *

Илья листал сводку, старался сосредоточиться на тексте, но строчки расплывались, мерещились горные вершины, пляжи, города, которые он знал только по открыткам, художественной литературе,

по сообщениям советских нелегалов и ворованной дипломатической переписке. Париж, Лондон, Амстердам. Везде он видел себя с Машей, как они бродят по бульварам, по набережным, плывут на яхте, подставляют лица соленому ветру, ужинают в портовом кабачке, слушают уличных музыкантов, ночуют в гостиничном номере с видом на море. Утром в окно светит солнце, трепещет белая занавеска, кричат чайки. Никогда прежде ему так не хотелось жить, как сейчас, и что теперь с собой, влюбленным идиотом, делать, неизвестно.

Он зажмурился, тряхнул головой. Наваждение прошло. Он просто отключился на минуту, не спал, грезил наяву. Очень уж надоела ему эта конура с портретом Инстанции на стене, с бюстом Инстанции на столе. Можно выйти из конуры, но за дверью, в каждом кабинете, на каждом этаже, и снаружи, по всему огромному городу, портреты, бюсты, скульптуры в полный рост, в парках, во дворах, на улицах, на станциях метро, во всех учреждениях, в театрах и кинотеатрах, в Третьяковской галерее. Высоко в небе над Москвой по праздникам висят поднятые на аэростатах, освещенные мощными прожекторами гигантские портретища.

Нет, пожалуй, не надо никаких романтических красот, никаких Парижей и Амстердамов. Для нормальной человеческой жизни сгодилось бы любое обитаемое пространство, свободное от бесчисленных изображений усатого низколобого лица.

«В камерах, где сидят смертники, нет ни портретов, ни бюстов, – усмехнулся про себя Илья. – И в гараже у Лубянки, в Варсонофьевском переулке, где каждую ночь расстреливают, тоже вряд ли. В кабинетах следователей и в помещении для отдыха исполнителей приговоров портреты, конечно, висят».

Илья занес остро отточенный карандаш над страницей, покосился на пишущую машинку, застыл на минуту, потом отложил карандаш и захлопнул папку. Он десятый раз перечитывал одно и то же, замирал над какой-нибудь фразой, которая резала глаз и могла бы вызвать раздражение Инстанции. Рука сама тянулась исправить, но больше

исправлять и перепечатывать невозможно, иначе текст развалится. Хватит. Надо отдохнуть, отвлечься на полчаса.

Он взял первое, что попало под руку, – свежий номер «Правды». Типографская краска пачкала пальцы. Передовица рассказывала об открытии Чрезвычайного XVII Всероссийского съезда Советов. Речь Сталина. Речь Ежова. Бурные овации. Речь передовой колхозницы Тюниной:

«Когда у меня родится сын, когда он начнет говорить, первое слово, которое он скажет, будет „Сталин“.»

На следующей странице под заголовком: **«В здоровом теле – здоровый дух»** – большая фотография группы людей с лыжными палками, в противогазах. **«Семнадцать комсомольцев, рабочих и работниц Рублевской насосной станции отправились в лыжный поход Москва – Горький – Москва. Весь маршрут комсомольцы пройдут в противогазах».**

Две полосы посвящались подготовке к всенародным торжествам в честь столетней годовщины со дня гибели А.С. Пушкина. Статья профессора Лупуллы начиналась так:

«Прошло сто лет с тех пор, как рукой иноземного аристократического прохвоста, наемника царизма был застрелен великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Чествование Пушкина – это чествование ленинско-сталинской национальной политики. Сталин и Сталинская конституция подарили народу Пушкина».

Бросился в глаза великолепный пассаж из речи Алексея Толстого:

«Мне хочется восторженно выть, реветь, визжать и стонать от одной мысли о том, что мы живем в одно время со славным, единственным и несравненным Сталиным! Наше дыхание, наша кровь и наша жизнь – принадлежат Вам! О, великий Сталин!»

– Господи, помилуй, – прошептал Илья.

Карандаш опять оказался в руке. Грифель скользнул по строчкам, но не оставил следа. Спецреферент Крылов позволил себе слегка отредактировать текст знаменитого писателя, только мысленно.

«Мне хочется выть, реветь, визжать и стонать от одной мысли о том, что мы живем в одно время со Сталиным. Наше дыхание, наша кровь, наша жизнь принадлежат ему».

Вот теперь это стало похоже на правду.

Дверь внезапно распахнулась. Александр Николаевич Поскребышев упал в кресло напротив стола и хрипло произнес:

– Твою мать...

Он тяжело дышал. Лицо его было бледным, сморщенным, глаза ввалились и покраснели. Илья, не задавая вопросов, налил своему начальнику воды, протянул стакан. Поскребышев глотнул, поставил стакан на стол и продолжил более звучным голосом:

– Сука, дерьмо собачье, иди на хер...

Минут пять сталинский секретарь продолжал материться, и постепенно лицо его розовело. Наконец монолог иссяк, дыхание стало ровным, Илья спросил:

– Александр Николаевич, может, валерьяночки?

Поскребышев помотал головой, встал, проделал нечто вроде короткой гимнастики для лицевых мышц: надул и растянул губы, прищурился, подвигал бровями вверх-вниз и вышел из кабинета, не сказав ни слова.

Когда такое случилось впервые, Илья пережил шок, испугался, что Александр Николаевич материт лично его, спецреферента Крылова, и за бранью последует страшная расправа. Но не последовало ничего. Кремлевский день продолжал свое обычное течение, механизм работал без перебоев, никаких претензий к спецреференту Крылову ни у кого не было. Улучив подходящий момент, Илья решился спросить Поскребышева, что случилось.

Александр Николаевич не сразу понял, о чем речь, потом до него дошло, он небрежно махнул рукой:

– Да так, вымотался, две ночи не спал, понервничал слегка, – он подмигнул и похлопал Илью по плечу. – К тебе это не относится, не боись!

Примерно через месяц повторилось то же самое, и опять никаких объяснений, никаких последствий.

Третий неожиданный визит и поток брани Илья воспринял уже совершенно спокойно и даже получил некоторое удовольствие, слушая отборную энергичную матерщину бывшего фельдшера. Молча налил воды в стакан, поставил перед Александром Николаевичем, но тот никак не отреагировал. Илья вдруг заметил, что глаза бранящегося устремлены в одну точку, в центр стены над столом, туда, где висит портрет Инстанции в строгой раме темного дерева.

Поскребышев смотрел прямо на портрет, обращался исключительно к нему, исключительно матом, с нешуточной ненавистью. В какой-то момент, уже на исходе монолога, он почувствовал, что Крылов проследил направление его взгляда. Замолчал, взял стакан, выпил, повернулся. Глаза Поскребышева уперлись в лицо Ильи, в них не было ни испуга, ни угрозы, в них ясно читалось:

«Да, Крылов, ты все понял правильно. Ты умный, ты, конечно, не стукнешь».

«Александр Николаевич, я умный, а вы еще умнее, к тому, кто стукнет, вы бы никогда не зашли, чтобы выпустить пар и отвести душу», – мысленно ответил Илья.

Поскребышев подмигнул и вышел. Так, благодаря своему начальнику, Илья сделал очередное открытие. Если с человеком возможно объясниться молча, взглядами, значит, он еще жив. У тех, кто растворился в Сталине, глаза ничего не выражали.

В приемной, в кабинете Инстанции, в коридорах, на заседаниях Александр Николаевич выглядел обезьянкой с кукольными

мертвыми глазами. Илья знал, что сам он выглядит так же. Ему доводилось ловить в случайных зеркалах свое окоченевшее лицо.

Илью мучили два вопроса: если Поскребышев поймал в нем пульсацию жизни, то и Хозяин может однажды учуять. Что тогда? Ответом стала старая поговорка: двум смертям не бывать, а одной не миновать. Растворение в Сталине, добровольный отказ от собственной личности, от своих чувств и мыслей для Ильи был страшнее физической смерти.

Второй вопрос. Почему Александр Николаевич не может выпускать пары в одиночестве или с кем-то более близким и надежным, чем спецреферент Крылов? Но и тут ответ нашелся. Илья знал по собственному опыту, что материть Хозяина наедине с его изображением – занятие бессмысленное и опасное. Можно по-настоящему свихнуться. Изливая свои эмоции на кого-то близкого, на членов семьи, ты взваливаешь на них непомерный груз, они мучаются вместе с тобой, помочь не могут, и всем становится только тяжелее.

В биографии Александра Николаевича было достаточно событий и поступков, которые здорово закаляют психику и притупляют чувствительность. В июне 1918-го член Екатеринбургского губернского совдепа Поскребышев подписал постановление о расстреле Николая II, его супруги и малолетних детей. Руководил политотделом Особой Туркестанской армии, уничтожал туркестанских националистов, потом был председателем ревкома в Златоусте и в Уфе, расстреливал крестьян, заподозренных в сочувствии Колчаку.

Революция и гражданская война превратили фельдшера в карателя. Товстуха рассказывал, что, познакомившись с Поскребышевым, хозяин одобрительно произнес: «Ха, ну и рожа, вот урод так урод!»

Вряд ли внешность бывшего фельдшера сыграла существенную роль, но то, что уродливые люди нравились товарищу Сталину, было очевидно. Рядом с ним почти не осталось не то что красивых, а

просто нормальных лиц. Хозяин окружил себя рожами. Человекообразный зверек Ежов. Жирный, со слипшимся чубом на лбу, с трясущимся, как желе, двойным подбородком и воробьиным носиком на расплывшейся бабьей физиономии Маленков. Приплюснутый, словно стукнутый мордой об стол, Молотов. Осанистый, как индюк, с дегенеративно узким лбом Буденный, свиноподобный, всегда поддатый Ворошилов.

«Хороши ребята, – иногда думал Илья, разглядывая знакомых персонажей на заседаниях Политбюро, – на каждом отпечаток скотства. Они выглядят как водевильные разбойники, но водевиль не кончается, убитые жертвы никогда не встанут, чтобы поклониться публике».

Нормальные человеческие лица были только у Микояна, Орджоникидзе и Кагановича. Первые двое каким-то чудом умудрились уцелеть, не растворились в Сталине. Долго ли сумеют продержаться, неизвестно. Каганович издали выглядел импозантным мужчиной, но глаза были кукольные, лучше не заглядывать в них.

Что касается Поскребышева, конечно, Хозяин приблизил его к себе не только из-за уродливой внешности. Сталинская обезьянка обладала феноменальной памятью, блестящими организаторскими способностями, умела улавливать тончайшие вибрации Инстанции всем своим подвижным тельцем. При кажущейся безобидности обезьянка была плотоядным хищником, к запаху и виду крови привыкла со времен своей дикой большевистской молодости. Но, несмотря на многолетнюю дрессуру, обезьянка иногда срывалась на вой, рев, визг и стон, потому что на самом деле Александр Николаевич не был обезьянкой, просто мастерски прятал свое человеческое лицо от посторонних глаз.

Когда закрылась дверь за Поскребышевым, Илья еще раз перечитал первый абзац из речи Алексея Толстого и беззвучно пробормотал:

– Так-то, товарищ граф, выть, реветь, визжать и стонать хочется не только вам одному.

На подоконнике лежала стопка свежих номеров «Фолькише Беобахтер» («Народного обозревателя»), самой массовой ежедневной германской газеты, официального правительственного органа. Разглядывая фотографии руководителей рейха, Илья в который раз убедился, что нацистские рожи ничуть не краше большевистских. Геббельс чем-то похож на Ежова и тоже карлик. Жирный Геринг напоминает Маленкова. Если усы Молотова превратить в брови, гуще заштриховать лысину, получится Гесс. В определенных ракурсах Мартин Борман – вылитый Ворошилов.

Несколько передовиц посвящались подготовке к торжествам в честь празднования 30 января, дня прихода к власти нацистской партии. Геббельс выступил перед членами Ассоциации имперской прессы:

«Часто я с грустью и умилением вспоминаю о тех прекрасных временах, когда мы в своей стране были просто-напросто маленькой сектой, а в столице у национал-социалистов едва ли набиралась дюжина сторонников».

Философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер произнес речь перед студентами Берлинского университета:

«Никакие догматы и идеи более не являются законами нашего бытия. Только фюрер, и никто другой, воплощает настоящую и будущую реальность Германии и ее закон».

В разделе «Культура» – панегирик только что вышедшей книге профессора Вильгельма Мюллера «Еврейство и наука» с пространными цитатами.

«Еврейская физика есть мираж и следствие дегенеративного распада.

Теория относительности Эйнштейна не теория, а колдовство, способное превращать все живое в призрачную абстракцию,

где все индивидуальные черты народов и наций и все внутренние границы рас размываются. Всемирное признание теории Эйнштейна являлось взрывом радости в предвкушении еврейского правления миром, которое навечно низведет дух немецкого мужества до уровня бессильного рабства».

Илья отложил «Беобахтер», подумал, что ему повезет, если Инстанция затребует обзор официальной германской прессы только в начале следующего месяца. Если это произойдет в январе, составлять сводку будет трудно, в Германии затишье, никаких существенных событий, ничего об СССР вообще и товарище Сталине в частности. Придется высасывать из пальца, просматривать разные региональные издания, чтобы найти хоть что-то достойное его внимания. Товарища Сталина раздражает, когда гитлеровская пресса слишком долго ничего о нем не пишет.

Работая в Институте марксизма-ленинизма, Илья по заданию Товстухи делал для Инстанции развернутый, с комментариями, перевод «Майн Кампф». Герр Гитлер тогда еще не пришел к власти, но товарищ Сталин им очень интересовался.

Несколько раз, являясь по вызову, спецреферент Крылов заставлял Инстанцию за чтением «Майн Кампф». Рукопись развернутого перевода издали для товарища Сталина в одном экземпляре, это был увесистый кирпич в бордовом сафьяновом переплете.

Когда он читал «Майн Кампф», лицо его распухало, багровело, оспины становились глубже и заметнее. Возможно, это было связано с проблемой сосудов. Но Илье казалось, что дело вовсе не в сосудах. Товарищ Сталин напряженно впитывал энергетику текста, лицо превращалось в губку. Он так увлекался, что не сразу замечал вошедшего спецреферента. Наконец поднимал голову и преображался из пористой губки в товарища Сталина. В такие мгновения следовало особенно внимательно следить за собственным лицом, даже находясь далеко от стола, у двери. Если

он заподозрит, что ты уловил, подглядел нечто, не предназначенное для твоих глаз, считай себя мертвецом.

«Майн Кампф» представлял собой эпическое повествование о **«коросте всей земли, еврейской антирасе, вампирах народов, хозяевах антимира»**, которые лишают невинности белокурых арийских дев. Между балладами о сифилисе, раке, змеях, червях и пиявках излагалась четкая политическая программа. Гитлер собирался завоевать жизненное пространство на Востоке, получить полезные ископаемые Урала и чернозем Украины. И вот он с этой своей программой стал рейхсканцлером. Несмотря на его вопли о мире, было очевидно, что основа его политики – военная агрессия, направленная в первую очередь против СССР.

«Сталин ужасен, однако Гитлер еще хуже, и Сталин единственная сила, которая способна противостоять Гитлеру».

Однажды Илья вывел для себя эту утешительную формулу и держался за нее изо всех сил. Она была чем-то вроде мягкой смазки для успешной работы механизма под названием спецреферент Крылов.

Глава шестая

Вскоре после конференции в Мюнхене доктор Штерн получил официальное приглашение на обед в отель «Кайзерхоф» на Вильгельмштрассе, где находилась берлинская резиденция Адольфа Гитлера. За ним заехал шофер Геринга. В просторном банкетном зале собралось человек двадцать, среди них доктор увидел нескольких своих богатых пациентов.

Госпожа фон Дирксен, которую он излечил от нервного тика, тепло приветствовала его, представила маленькому носатому хромоножке по фамилии Геббельс. Хромоножка оказался доктором философии, депутатом рейхстага, руководителем, вернее, гением имперской пропаганды, как выразилась госпожа Дирксен. У гения на впалых щеках и тощей шее цвели алые фурункулы, острый кончик языка без конца облизывал тонкие бледные губы. Большие карие глаза с поволокой резко контрастировали с уродством лица и всей фигуры, они словно принадлежали какому-то другому существу.

Когда Карл вышел покурить в кофейный павильон, к нему на подлокотник кресла бесцеремонно присел угрюмый молодой человек с квадратным лицом и широкими черными бровями. Из-под бровей сверкали маленькие желтоватые глазки.

– Меня зовут Рудольф Гесс, а вы тот самый доктор Штерн. Карл Штерн, если не ошибаюсь?

– Да, совершенно верно.

Чтобы говорить с ним, приходилось выворачивать шею. Вблизи лицо его казалось совершенно плоским.

– Я трудно схожусь с людьми, но к вам чувствую большое доверие, – он понизил голос до шепота. – Я знаю вашу тайну. Знаю только я, вы понимаете?

– Простите, я не совсем... – Карл слегка отстранился от наплывающего плоского лица.

– Фюрер плакал, когда рассказывал мне. В страшные дни национального позора вашими устами говорило само Провидение. Это огромная честь и огромная ответственность, вы понимаете?

– Да, конечно.

Карл вспомнил, что Геринг называл Гесса тенью шефа. Тень сурово сверкнула глазами, соскользнула с подлокотника и удалилась.

«Тень-Гесс только кажется безумным, на самом деле он в такой своеобразной форме предупредил меня, что о своем первом знакомстве с Гитлером в госпитале в ноябре 1918-го я должен помалкивать», – успел подумать Карл и тут же попал в объятия баронессы фон Блефф.

– Карл, мой дорогой, как я рада вас видеть! – баронесса надвигалась на него, словно океанская волна.

Колыхался бирюзовый шелк платья, сверкала белизной красиво уложенная седая шевелюра, искрились бриллианты в ушах, на шее, на пальцах пухлой холеной руки, протянутой для поцелуя.

Пришлось встать, улыбнуться, склониться к руке. Единственный сын баронессы страдал затяжными депрессиями и был одним из самых платежеспособных пациентов доктора Штерна.

– Дорогой доктор, у меня радостная новость, – гудело контральто баронессы. – Мой мальчик поправился и теперь может заняться изданием журнала, вы знаете, он с детства мечтал об этом, но из-за болезни ничего не получалось. И вот, благодаря вам, он полон энтузиазма и творческих идей. Франс, детка, иди сюда, поздоровайся с доктором.

«Детке» стукнуло двадцать пять, но выглядел он значительно старше из-за ранней плешки, серого оттенка щек и старчески унылого выражения лица. Доктор знал, что это выражение появляется у него всегда в присутствии матушки и щеки сереют от страха перед ней. Отпрыск древнего баронского рода больше всего на свете боялся, что матушка узнает его тайну. Франс Герберт Мария фон Блефф был гомосексуалистом. Конечно, психотерапия и гипноз вылечить этот недуг не могли, но сеансы доктора Штерна помогали «детке»

избавиться от мучительного страха разоблачения. Благодаря доктору бедняга Франс научился владеть собой, не терять головы, соблюдать разумную осторожность.

– Здравствуйте, Франс, – доктор пожал холодную лапку отпрыска. – Рад, что вам лучше. Какой журнал вы будете издавать?

– Журнал мод, «Серебряное зеркало», – ответила баронесса.

Отпрыск молча вяло кивнул. И тут кто-то громко, на выдохе, произнес:

– Приехал!

Все устремились в фойе. Доктор успел заметить, как залились румянцем бледные щеки Франса, и подумал, что в данном случае бедняга может не скрывать от матушки своей очередной горячей влюбленности. Баронесса фон Блефф боготворила Гитлера, считала его мессией, спасителем отечества. Трепет и восторг сына при виде ефрейтора был для нее естественным проявлением здорового германского патриотизма.

Гитлер вел под руку молоденькую белокурую барышню. Ее звали Гели. Она заливалась счастливым смехом, громко рассказывала, как они с дядей Адольфом выбирали ей шляпку.

– Я перемерила около сотни, ничего не понравилось. Мы выходим на Линденштрассе, и вдруг я вижу в витрине именно то, о чем мечтала. Тяну дядю за руку, а он уперся, насупился, – Гели скорчила угрюмую рожицу, изображая, как насупился дядя. – В общем, это оказалась еврейская лавка. Но все-таки я его уговорила, уговорила!

Гели щебетала, Гитлер вел себя как светский лев из дешевой кинодрамы, целовал дамам ручки, щедро раздавал комплименты. Мужчин приветствовал дружескими рукопожатиями. Очередь дошла до Карла.

– Рад вас видеть, доктор Штерн. Знаю, как вы помогли нашему Герману, – прозрачный неморгающий взгляд уперся в глаза.

Рукопожатие ефрейтора оказалось вялым и влажным. Когда он отошел к следующему гостю, Карл услышал у самого уха шепот:

– Теперь он играет роль цивилизованного политика, не бранится и не ест на завтрак евреев.

Доктор обернулся. Рядом стоял высокий лысый мужчина лет сорока пяти в дорогом темном костюме. Лицо казалось смутно знакомым.

– Меня зовут Бруно Лунц, – он широко, приветливо улыбнулся. – Ну, Карл, узнали? Я сильно изменился за четверть века. Вы тоже не помолодели.

Конечно, доктор узнал и обрадовался. С Бруно Лунцем были связаны счастливейшие воспоминания юности. Три месяца они жили в одной комнате в общежитии Тюбингемского университета. Оба приехали в Тюбингем прослушать курс лекций по средневековой философии знаменитого профессора Грюнера.

Бруно был из русских немцев, учился в Петербургском университете на историческом факультете. Именно Бруно заразил Карла любовью к Достоевскому, дал ему несколько уроков русского языка. С тех пор чтение по-русски стало для Карла чем-то вроде хобби. Он покупал учебники, словари, граммофонные пластинки с русскими романсами и оперой «Евгений Онегин», даже выучил наизусть несколько стихотворений Пушкина, Баратынского, Тютчева. Читал свободно, без словаря, но говорил плохо, поскольку не было подходящих собеседников.

– Теперь я могу освежить свой разговорный русский, – сказал он Бруно по-русски.

– Надо же, не забыл! И здорово продвинулся за эти годы. Акцент, конечно, убийственный, но говорить можешь. Однако не здесь, не сейчас, – Бруно перешел на немецкий. – Нас неправильно поймут.

За обедом они сидели рядом, Бруно успел рассказать шепотом, что сбежал из России в двадцатом, жил в Константинополе, в Париже, теперь вот осел в Цюрихе и очень часто бывает в Берлине.

– Числюсь в музее Древнего Египта консультантом, на Вагнерштрассе у меня есть магазинчик, торгую всякой египетской

дребеденью. Видишь ли, эти господа интересуются древностью, в том числе фараонами и жрецами. Ну, а ты как сюда попал?

– Лечу Геринга от морфинизма.

– Карл, мы с тобой отлично устроились. У нас большое будущее. Когда они придут к власти, мы разбогатеем и прославимся.

– Думаешь, у них есть шанс прийти к власти?

Бруно не ответил, Гитлер произносил речь, на них косились, шептаться стало неловко.

– Брак как основа семьи есть залог жизни и будущего народа. Сохранение в чистоте его устоев есть нравственный долг. Прелюбодеяние и разрушение чужой семьи есть осквернение чести, а измену собственной жене следует в общем и целом дополнительно квалифицировать как вероломство. Измена жены обязывает супруга во имя защиты чести своего дома призвать обидчика к ответу.

Ефрейтор говорил медленно, словно диктовал. Все собравшиеся слушали с преувеличенным вниманием, только белокурая Гели, сидевшая по правую руку от него, рассеянно катала между ладонями хлебный шарик.

– Никогда не угадаешь заранее, о чем будет проповедь, – прошептал Бруно. – Эта хорошенькая блондинка, Гели Раубаль, его племянница. Он с ней сожительствует. В его семействе инцест обычное дело. Мать и отец были близкими родственниками.

Давно подали горячее, но никто не притрагивался к еде.

– Любое существо, любое вещество, но также и любой общественный институт подвержены процессу старения, – продолжал Гитлер. – Однако всякий общественный институт обязан считать, что он вечен, если только не желает самоликвидироваться. Крепчайшая сталь устает, все без исключения элементы распадаются. Поскольку Земле суждена гибель, несомненно уйдут в небытие и все общественные институты.

Гели подкинула хлебный шарик, ловко поймала его ртом, хихикнула, взяла вилку и начала есть. Остальные последовали ее

примеру. Гитлер тоже принялся за еду, но, не прожевав куска, произнес:

– Этот процесс идет волнами, не прямо, а снизу вверх или сверху вниз. У церкви вековой конфликт с наукой. Бывали времена, когда церковь такой несокрушимой преградой вставала на пути научных исследований, что это приводило к взрыву.

Обед длился несколько часов, и все время Гитлер трещал, как заигранная пластинка. Он произносил бессмысленные банальности с видом оракула, и хотя блюда подавали великолепные, аппетит у Карла пропал. Единственным приятным событием оказалась встреча с Бруно.

Потом было еще несколько обедов и банкетов. Иногда Карл приходил вместе с Эльзой и каждый раз поражался способности ефрейтора нравиться дамам.

– Он интересный человек, – заявила Эльза после первого знакомства.

Градус восхищения возрастал с каждой новой встречей. По пути домой с очередного обеда Карл услышал:

– Сила его убежденности заслуживает уважения, он умеет говорить просто и понятно о сложных вещах. Но главное, он дарит надежду, которую отняли у немцев в восемнадцатом году.

Вначале Карл пытался спорить:

– Послушай, но ведь он сумасшедший, у него мания величия.

– У тебя все сумасшедшие, ты привык видеть в людях только дурное. Да, в своих суждениях он иногда заходит слишком далеко, но некоторый максимализм свойственен всем великим людям.

– Что же в нем великого? Обыкновенный болтун и демагог, к тому же урод. Сальная челка, комедийные усики, этот невыносимый пафос.

– Карл, неужели ты не чувствуешь, какая от него исходит мощная энергия? А глаза! Они светятся, они смотрят прямо в душу!

Скоро Карл понял, что спорить бесполезно. Эльза, такая разумная, здравомыслящая, становилась восторженной дурочкой, как только

речь заходила о Гитлере. То же происходило практически со всеми женщинами, попавшими в орбиту ефрейтора. Жены крупных промышленников, баронессы, графини, светские красавицы млели, теряли рассудок, словно воздух вокруг этого напыщенного болтуна был пропитан испарениями какого-то мощного психоделического наркотика.

– Все благополучие нацистской партии держится на дамских жертвованиях. Душка Гитлер умудряется доить богатых экзальтированных дур. Дуры тянут деньги из мужей. Вот тебе пример настоящей мужской проституции, – говорил Бруно. – При этом нет более шовинистической по отношению к женщинам идеологии, разве что у мусульман. Гитлер считает, что место женщины возле прялки, а ее главное оружие – столовая ложка.

С Бруно они стали встречаться довольно часто. Он оказался единственным человеком, который сумел сохранить здравый смысл. Его едкий юмор бодрил, его анекдоты о египетских фараонах и жрецах, парадоксальные исторические аналогии слегка приподнимали над абсурдной повседневностью, заставляли смотреть на происходящее со стороны, чувствовать себя снисходительным очевидцем, а не бессильной жертвой обстоятельств.

Однажды в конце сентября 1931-го доктора разбудил ночной телефонный звонок. Спросонья он не понял, кто именно звонит, возможно, это был голос Геббельса.

– Вы должны срочно вылететь в Мюнхен.

Через сорок минут машина с незнакомым молчаливым шофером доставила Карла в аэропорт. За штурвалом маленького спортивного самолета сидел сам Гесс.

– Гели застрелилась, у фюрера тяжелый нервный срыв, срочно требуется ваша помощь.

Еще за дверью доктор услышал вопли ефрейтора. Молодой человек в прихожей сообщил шепотом, что ему едва удалось отнять у фюрера пистолет и не дать ему застрелиться.

– Она предала меня! Грязная свинья, жалкое вероломное создание! Гели, девочка моя, прости, я виноват, я не позволил тебе заниматься пением!

Фюрер выл и катался по полу. Доктор присел возле него на корточки и машинально произнес:

– Адольф, перестаньте рыдать, будьте мужчиной.

Вой затих. Фюрер сел и выпучил на Карла глаза. Глаза были холодные и совершенно спокойные. Позже Гесс и несколько других свидетелей утверждали, что произошло чудо. Без всяких медицинских препаратов доктору Штерну удалось успокоить фюрера, вернуть ему бодрость духа. По мнению Гесса, само присутствие доктора Штерна, звук его голоса послужили в тяжелый момент живым напоминанием о священной миссии, о том, что великий человек не вправе отвлекаться на пустяки.

– Гели была взбалмошной девчонкой, ее присутствие рядом с фюрером компрометировало партию, – сказал Гесс на прощание.

По мнению доктора, чудо заключалось в том, как легко соратники верили в искренность истерических припадков. На самом деле это были спектакли. Катаясь по полу с диким воем, ефрейтор сохранял ледяное внутреннее спокойствие.

По дороге от аэродрома до дома Карл задремал в автомобиле, ему приснилось, что его закручивает бешеная воронка, он кубарем летит в бездну, на лету его тело теряет плотность и четкость очертаний, становится тенью, сгустком темноты. Он проснулся в холодном поту от собственного крика.

Дома он рассказал обо всем Эльзе.

– Ты просто устал. Бессонная ночь, нервное потрясение. Но ты можешь гордиться собой, ты помог человеку справиться с болью потери.

– Эльза, не было у него никакой боли, сомневаюсь, что он вообще способен испытывать боль. Он сожительствовал со своей молоденькой племянницей, она застрелилась. Не удивлюсь, если окажется, что ее убили и Гитлер причастен к этому.

– Карл, ты говоришь ужасные вещи, тебе надо отдохнуть, выспаться.

Смерть Гели вызвала легкий переполох в антинацистской прессе, стали распространяться слухи, что Гитлер застрелил ее из ревности, что она была беременна то ли от учителя музыки, то ли от какого-то художника из Линца, то ли от самого Гитлера. Третья версия оказалась популярнее двух других. Ее мусолили бульварные газеты. Будто бы из-за близкого родства с Гели окружение Гитлера и он сам испугались, что родится неполноценный ребенок, и, поскольку Гели отказалась делать аборт, решено было ее застрелить, инсценируя самоубийство.

У полиции гибель двадцатитрехлетней племянницы лидера НСДАП не вызвала подозрений. Не было ни расследования, ни вскрытия. Гели очень быстро похоронили на венском кладбище в склепе для бедных. Корреспондент венской вечерней газеты встретился со священником кладбищенской церкви. Священник якобы заявил, что никогда не позволил бы хоронить самоубийцу в освященной земле. ***«Из того факта, что я похоронил Ангелу Раубаль по христианскому обычаю, вы сами должны сделать выводы, которые я не могу произнести вслух».***

Венский «Вечерний листок» Карлу показал Бруно. Корреспондент подписался псевдонимом «Н.Р.», священник был назван «отцом П.».

– Не удивлюсь, если оба скоро исчезнут при загадочных обстоятельствах, – сказал Бруно.

Не прошло и месяца, как скончалась от сердечного приступа Карин Геринг. Ничего подозрительного и загадочного в ее смерти не было. Многие годы она тяжело болела. Геринг, в отличие от Гитлера, страдал вполне натурально, спектаклей не устраивал, просто впал в депрессию и вернулся к морфию. Доктору пришлось проводить с ним сеансы интенсивной психотерапии.

По берлинским улицам в сопровождении духовых оркестров маршировали стройные колонны штурмовиков СА в аккуратной коричневой униформе. Навстречу им двигались коммунистические

демонстрации, «марши нищеты». Под звуки волынки неряшливо одетые люди поднимали кулаки и выкрикивали одно слово: «Голод!» На фоне унылых коммунистических толп аккуратные, дисциплинированные штурмовики казались символом порядка и бодрости. Духовые оркестры звучали приятнее и внушительнее визгливых волынок.

* * *

Илья закурил, развернул стул так, чтобы видеть прямо перед собой портрет Инстанции, висевший над его рабочим столом, тот самый портрет, к которому обращал свои матерные монологи Поскребышев. Это была тщательно отретушированная увеличенная фотография с подписью внизу: «И. В. Сталин – член военсовета Северо-Кавказского военного округа. Царицын, 1918».

Со снимка глядел молодой Джугашвили с буйной, без проседи, шевелюрой, с пышными усами. Ретушь сделала щеки идеально гладкими, ни пятнышка, ни ямки. Глаза сощурены, смотрят в упор. В них высокомерная усмешка победителя, хотя тогда, в восемнадцатом, в Царицыне, было еще очень далеко до его нынешних грандиозных побед. Для легкомысленных соратников он оставался Кобой, но уже во всех официальных документах значился товарищем Сталиным.

Обычно портрет помогал настроиться на сталинскую волну, в нем были черты идеального Сталина, каким хотел видеть себя сын горийского сапожника-пьяницы маленький хитрый Сосо.

Сосо Джугашвили ненавидел свое детство и все, что от него осталось: оспины, искалеченную левую руку. Он запустил в обиход миф, будто бы в возрасте десяти лет попал под автомобиль и десять дней провалялся в коме. Из-за плохо обработанных ран у него началось заражение крови, в результате левая рука перестала сгибаться в локте.

Первый автомобиль был собран Даймлером в 1885-м и никак не мог в 1887-м, через два года, появиться в захолустном грузинском городке Гори. Внимательный Товстуха потихоньку отредактировал миф, заменив автомобиль дилижансом, а заражение крови – переломом.

Что на самом деле случилось с рукой, оставалось тайной, одной из тысяч бессмысленных тайн, которыми окружал себя товарищ Сталин, как кальмар чернильным облаком.

Он врал даже в мелочах, без всякого практического смысла, не заботясь о достоверности, просто ради самой лжи.

Вначале Илье было трудно удерживать в себе все, что он узнавал из документов, казалось, голова взорвется, мучительно хотелось с кем-то поделиться или завести тайный дневник. Он так долго носился с мыслью о дневнике, что даже придумал специальный шифр, но, попав на службу в Особый сектор, навсегда оставил эту детскую затею. Он знал, что в рабочем кабинете, в казенной квартире на Грановского и даже в комнатенке мамы на Пресне периодически проводятся обыски. Не только в бумагах, но и в нижнем белье, аккуратно, не оставляя следов, роются специалисты из Оперативного отдела. Зашифрованный дневник – верный способ получить пулю после порции пыток.

Молчать он научился сразу. Невелика наука – хочешь жить, молчи. За пару лет работы в архиве зрительная память развилась настолько, что удавалось выучить наизусть документ после двух-трех прочтений. Чем больше он узнавал, тем вернее убеждался, что изменить ничего нельзя. Это напоминало ночной кошмар, когда во сне теряешь способность бежать и кричать, тело тебе не подчиняется. Но от кошмара избавляешься, проснувшись.

«Может, это и есть сон? – спрашивал он себя. – Сознание продолжает работать, но сдвинуться с мертвой точки невозможно, как будто вместо воздуха вязкий клей вроде сладкой массы, которой покрыты нити паутины».

Скоро он стал чувствовать, что в состоянии полной неподвижности единственный способ выжить – продолжать шевелить мозгами, размышлять, анализировать, задавать самому себе вопросы и пытаться на них ответить.

Однажды Илье довелось держать в руках номер берлинской коммунистической газеты «Роте Фане» за 10 октября 1923 года с факсимильным воспроизведением рукописного послания Сталина тогдашнему главе германских коммунистов Тальгеймеру.

«Грядущая революция в Германии является самым важным мировым событием наших дней. Победа революции в Германии будет иметь для пролетариата Европы и Америки более существенное значение, чем победа русской революции шесть лет назад. Победа германского пролетариата, несомненно, переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин».

Илье захотелось понять, что это было – глупость или хитрость? Неужели Сосо искренне верил в победу пролетарской революции в Германии? Не мог он не знать, что германская компартия оказалась мнимой величиной, добрая половина ячеек и боевых дружин существовала лишь на бумаге и деньги, отпущенные Советским правительством на покупку оружия, разворованы. Единственным результатом революционных усилий стал панический страх немцев перед большевизмом, который помог Гитлеру прийти к власти.

Пытаясь разобраться в этом, Илья наткнулся на одну из «особых папок», где хранились документы за 1923-й год, и тут же обнаружил, что год этот оказался решающим в жизни Сосо. Его отношения с Лениным обострились, если бы Ленин выздоровел, он бы, скорее всего, снял товарища Сталина с поста генерального секретаря, и это волновало Сосо в первую очередь. Это волновало его так сильно, что он решил подстраховаться, написал докладную записку в Политбюро, будто бы Ленин просил у него, Сталина, цианистого калия. Но тогда, в марте 1923-го, после очередного удара Ленина

парализовало, он лишился речи и при всем желании не мог никого ни о чем попросить. Хитрый Сосо придумал версию, будто яду Ленин попросил через Крупскую.

Затем произошел известный всей партийной верхушке конфликт между Сталиным и Крупской. Поговорив с ним по телефону, она каталась по полу в истерике. О чем был разговор, осталось тайной.

Немного успокоившись, Крупская настрочила отчаянную записку Каменеву и Зиновьеву:

«Я обращаюсь к Вам как к старым товарищам Владимира Ильича и умоляю вас защитить меня от грубых вмешательств Сталина в мою личную жизнь, от подлых оскорблений и низких угроз. У меня нет ни сил, ни времени заниматься этой тупой ссорой. Я человек, мои нервы натянуты до крайности».

Большевичка-конспираторша даже в таком взвинченном состоянии напускала туману. Много эпитетов и никакого смысла. Нет чтобы сказать прямо: «Сталин соврал, я не просила у него яду для Володи!»

Никто никогда не узнает, рассказала ли она Ленину всю правду об этом или даже с ним объяснялась эпитетами. Известно, что как только Владимиру Ильичу стало лучше, он тут же написал Сталину:

«Уважаемый т. Сталин!

Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам выразила согласие забыть сказанное, но, тем не менее, этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочтете порвать между нами отношения».

Разумеется, Сосо извинился и взял сказанное назад.

Прочитав записки из «особой папки», Илья потом не мог уснуть всю ночь. В то время он еще не был спецреферентом, жил вместе с мамашей на Пресне. Кушетка под ним громко скрипела, мамаша сквозь сон бормотала:

– Ну ты чего, сынок? Давай спи, хватит вертеться, вставать рано.

Он едва сдержался, чтобы не произнести вслух: «Знаешь, мамаша, в двадцать третьем году Сталин соврал, будто Крупская просила у него яду для Ленина».

Мамаша уютно посапывала. Илья подумал, что если бы он действительно произнес это вслух, она бы ответила:

«А чего соврал? Может, и правда просила. Крупская эта, она же психованная баба, вон как тарашит глазищи, ведьма, тем более лысый-то чертушка совсем больной был, мучился».

«Нет, мамаша, – мысленно возразил Илья. – Крупская не могла на такое решиться, она, конечно, ведьма, но чертушку своего лысого любила, ухаживала за ним больным, как за младенцем. А главное, у нее был яд, она еще с царских ссылок таскала с собой пузырек, в любом случае обошлись бы они в этом деле как-нибудь без Сталина, они оба его ненавидели тогда, он для них был чужой и опасный человек».

Мамаша закричала, повернулась на другой бок, пробормотала во сне:

– Ох, сынок...

Оказалось совсем просто строить этот воображаемый диалог со спящей мамашей. Он знал наизусть все ее словечки. Ленина она никогда не называла по имени. Вначале звала немецким чертом, потом, после воцарения Сталина, покойного Ленина стала величать ласково «лысым чертушкой».

Имя Сталина мамаше приходилось произносить публично. Как передовая работница треста столовых Наркомпроса, она выступала на собраниях, читала по бумажке своим звучным басом речи, не вникая в их смысл, просто тарабанила что положено и делала паузы после каждого «товарища Сталина», потому что люди должны

похлопать. Дома, наедине с Ильей, отводила душу, материла родного, любимого Вождя народов, лучшего друга всех трудящихся женщин, и непременно добавляла словечко «упырь», которое для нее было значимее любых матерных изысков.

«Ох, сынок, что же тогда получается? – мысленно продолжил Илья. – Наклеветал на нее, бедную женщину, этот упырь? И никто не вступился?»

Мамаша всегда была на стороне обиженного, и Крупская из «психованной бабы» и «ведьмы» мгновенно превратилась в «бедную женщину».

– Не вступился, – прошептал Илья.

Стараясь не шуметь, он нащупал брюки, джемпер, оделся, выскользнул в коридор. Ему хотелось курить. Пока шел к темной кухне, несколько раз повторил про себя: «Никто не вступился».

В кухне полная луна смотрела в открытую форточку. Илья понял, наконец, почему его так взволновал этот эпизод с ядом.

События, приведшие к воцарению Сталина, были намертво цементированы роковой предопределенностью. Казалось, все, от кого это зависело – государственные мужи, отдельные люди и целые толпы с их стихийными настроениями, – покорно выполняли волю неведомого драматурга. Многоактное действие поражало сложностью сюжетных поворотов и примитивностью действующих лиц. Персонажи делились на идиотов и мерзавцев, первые всегда поступали глупо, вторые – подло. На этом строился сюжет, это стало цементом для пирамиды, на которой сегодня возвышалась коренастая фигура упыря.

В долгих беззвучных диалогах с самим собой или с воображаемой собеседницей мамашей Илья пытался ответить на вопрос: был ли шанс что-то изменить? Перебирая в памяти подробности эпизода с ядом, он вдруг почувствовал пульсацию, словно слабенькая жилка забилась в окоченевшем теле прошлого.

Глядя на лунный диск в прямоугольнике облупленной оконной рамы, Илья думал:

«Если бы тогда, в двадцать третьем, нашелся в их шайке хотя бы один человек, способный раз в жизни поступить не по-большевистски, а по-человечески, допустим, Крупская решилась бы рассказать правду, и вопрос, зачем Сталину понадобилось врать о яде, был бы открыто поставлен на Политбюро. Ладно, к черту Политбюро! Неформально, между собой, они могли бы обсудить это, на несколько минут стать обычными живыми людьми, возмутиться, испугаться, почувствовать зловонный холодок упыря, который в то время еще бродил между ними как равный. Да, у них был шанс. И заключался он не в интриге, не в склоке, не в очередном витке внутривнутрипартийной борьбы и сложной кадровой рокировке, а в человеческом поступке, естественном, как дыхание».

Илья загасил папиросу, вернулся в комнату, разделся, залез под одеяло. Глаза, наконец, стали слипаться. Он знал, что Товстуха под руководством Хозяина занимался бесконечной пересортировкой и чисткой архивов, уничтожал множество документов. Почему эти не тронул?

«Потому, – сонно подумал Илья, – что история с ядом была огромной победой Сталина. Именно тогда, в 1923-м, он убедился, как просто манипулировать всей большевистской верхушкой, они стали деревянными фигурками на доске, которые можно перемещать легким движением пальца. Они предсказуемы и покорны, потому что никогда не поступают по-человечески. Все, что несет на себе отпечаток его побед, товарищ Сталин желает хранить вечно».

Вероятно, именно тогда, к концу 1923-го, был упущен последний шанс разоблачить упыря, повернуть историю в другое, менее кровавое русло. Жалкий лепет умирающего Ленина уже не имел никакого значения. Ознакомившись с «Письмом к съезду», с помощью которого Владимир Ильич пытался что-то исправить, Политбюро приняло резолюцию:

«Совершенно очевидно, что предложение Ленина освободить Сталина от обязанностей генсека, высказанное в „Письме к съезду“, демонстрирует полную несостоятельность Ленина не только как государственного деятеля, но и как личности в целом».

– А ты бы лучше забыл об этом, сынок.

Илья вздрогнул, открыл глаза, подумал, что померещилось, но нет. Мамаша проснулась, приподнявшись на локте, смотрела на него в темноте.

– О чем забыть, мамаша? – изумленно спросил Илья.

– О том, из-за чего не спишь, вертишься, – она зевнула. – Спи, миленький, ну их всех к лешему.

Он заснул спокойно и крепко, и, хотя будильник прозвенел всего через полтора часа, проснулся свежим и бодрым. У мамыши в комнате висел рукомойник, вода была ледяная, Илья побрился, вымылся до пояса над тазиком, растерся докрасна жестким полотенцем.

Бессонная ночь не пропала даром. Пафосное приветствие несостоявшейся германской революции Сосо чиркнул просто так, не вкладывая никакого тайного смысла. Но благодаря этой случайной писульке Илье удалось понять нечто важное. Он не сделал великого открытия, не придумал способа изменить сложившийся порядок вещей, но у него впервые возникло чувство, что молчаливое шевеление мозгами не такое уж бессмысленное занятие.

Не прошло и месяца после той ночи, как он заступил на должность спецреферента. В первой папке с документами, полученной через секретариат Ягоды от начальника ИНО Артура Христофоровича Артузова, была большая подборка сообщений от швейцарского резидента. Кличка Флюгер, кодовый номер W/24. Документы шли в хронологическом порядке, с января 1932-го по февраль 1934-го. В потоке разнообразной информации постоянно мелькал источник: кличка Док, кодовый номер D/77.

Информация, поступавшая от Дока, не содержала ни политических, ни военных секретов, она касалась личной жизни, состояния здоровья и психических особенностей нацистских вождей.

Док не был завербован, работал вслепую, делится доступными ему сведениями из-за потребности с кем-то поделиться, из-за природной доверчивости, по старой дружбе. «Центр» в лице Артузова настаивал на вербовке. Но Флюгер, хорошо знавший характер Дока, считал это нецелесообразным, утверждал, что попытка завербовать Дока сразу спугнет его.

Читая сообщения от Флюгера, Илья понял, что с Доком они познакомились давно, еще в студенческие годы, встретились через много лет. Док счел эту встречу случайной и наверняка радовался, что у него появился собеседник, с которым можно поговорить открыто, без вранья и притворства. Флюгер, конечно, был обаятельным, умным, ироничным, умел слушать внимательно и сочувственно, как положено настоящему шпиону.

«Привет, Док, – произнес про себя Илья, дочитав подборку агентурных сообщений от швейцарского резидента. – Вряд ли я когда-нибудь узнаю твое настоящее имя, увижу лицо. Ты даже не подозреваешь о моем существовании. Но я рад, что ты есть. Тебя подло используют, рано или поздно это может кончиться катастрофой для тебя, я не в силах тебе помочь, но я хочу, чтобы ты уцелел, источник Док, наивный и мудрый немецкий доктор. Мы с тобой чем-то похожи, мы две мухи, прилипшие к разным паутинам. Мы оба не можем сдвинуться с мертвой точки и что-то изменить, но упрямо продолжаем шевелить мозгами».

Глава седьмая

Весь день 30 января 1933-го берлинское радио комментировало назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Эльза не отходила от приемника, отправила горничную за газетами.

Четырнадцатилетний Отто приклеил к обоям над своим столом портрет ефрейтора, вырезанный из картонного конверта от патефонной пластинки с его речами. Пластинки раздавали в гимназии. Девятилетний Макс пририсовал ефрейтору рога, огромные уши и синяк под глазом. Мальчики подрались, Эльзе с трудом удалось разнять их. Она отодрала портрет и выбросила. На обоях осталось пятно. Отто мрачно напомнил маме, что она сама называла Гитлера великим человеком.

– Да, он мне нравится, но не настолько, чтобы украшать дом его изображениями, – сказала Эльза и тут же переключилась на Макса:

– А ты не должен был его уродовать.

– Гитлер противный, все время орет, – насупившись, ответил Макс.

Как раз в этот момент по радио звучало выступление ефрейтора.

– ***Задачей правительства должно стать восстановление духовного единства нации, объединенной одной волей, защита основ христианства и семьи, этой естественной ячейки общества и государства.***

Пару недель назад Эльза своими глазами увидела, как штурмовики избивали на улице старика еврея. И хотя она упорно повторяла, что Гитлер тут ни при чем, во всем виноват отвратительный гомосексуалист Рем со своими бандитами, восторг ее перед ефрейтором слегка увял.

– Теперь, когда Гитлер стал канцлером, он легко справится с этими мерзавцами, – заявила она за ужином.

У Карла не было ни сил, ни желания спорить с женой. К тому же он поймал себя на том, что опасается говорить о Гитлере при Отто,

да и Макс мог сболтнуть что-нибудь в школе. Страх вкрадчиво кольнул сердце.

Поздним вечером он записал в своем дневнике:

«30 января 1933-го – этот день можно назвать пиком абсурда, всеобщего ослепления. Старик Гинденбург^[5] при первом знакомстве с Гитлером сказал, что не доверил бы этому господину даже руководить почтой. У нормального человека никаких чувств, кроме недоумения и брезгливости, Гитлер вызвать не может. Что же произошло? Множество мелких человеческих злодейств и глупостей собрались в пучок, сфокусировались в одной ослепительной точке наподобие лучей в лупе, и вот деревяшка задымилась. Не обязательно этот легкий дымок разожжет пожар. Пост рейхсканцлера еще не вся власть. Нацистам досталось только три министерских портфеля из одиннадцати. На восьми ключевых постах по-прежнему сидят министры-консерваторы. Но кто они? Надутые ничтожества, завсегда в салонах и клубах, ни один из них не видит ничего дальше кончика своей сигары».

1 февраля был распущен рейхстаг. 2 февраля Геринг возглавил полицию Пруссии и принялся чистить ее ряды от тех, кто не сочувствовал нацистам. Инспекторы, комиссары, рядовые полицейские увольнялись, их места занимали люди из СА и СС. По Берлину в торжественном параде шагали коричневые штурмовики, к вечеру стройные колонны рассыпались, воняло пивной кислятиной и пороховым дымом, пьяные штурмовики освобождали город от коммунистов и предателей, громили редакции газет, кафе, магазины, дома.

Для «защиты германского народа» был принят закон о чрезвычайном положении, заткнувший рот всей оппозиционной прессе. Нацистские газеты и радио сообщали об огромных складах оружия, о найденных при обысках документах, которые раскрывают

колоссальный коммунистический заговор, опутавший своей тайной сетью всю Германию.

Геринг выступил по радио с речью:

– Документы неопровержимо доказывают, что участники заговора планировали свергнуть Германию в хаос большевизма, готовили террористические акты против вождей народа, диверсии на предприятиях, массовые отравления рабочих и крестьян, захват заложников, жен и детей выдающихся государственных деятелей. Все это должно было привести народ в ужас и смятение, сломить силу сопротивления коммунистической чуме. Я, имперский комиссар Прусского Министерства внутренних дел, имперский министр Геринг, обещаю в скором времени предъявить общественности все добытые полицией документы.

Никаких документов так никто и не предъявил, но население в них уже нуждалось, бюргеры, рабочие, крестьяне охотно верили в зловещий тайный заговор темных сил. Поднялась паника, в городах жильцы домов по очереди дежурили в подъездах, опасаясь грабежей и взрывчатки. В деревнях крестьяне охраняли колодцы и родники, опасаясь отравителей. На этом фоне бесчинства геринговской полиции, аресты и убийства выглядели как необходимые меры защиты.

Полиция получила право использовать оружие против участников любых антиправительственных манифестаций. Полицейские с дубинками и револьверами ворвались на собрание католической организации «Символ веры». Трех человек убили, пятерых тяжело ранили. Среди убитых оказался старый учитель музыки. Эльза несколько лет брала у него уроки игры на фортепиано. Вернувшись с похорон, она плакала и твердила, что это провокация, Гитлер ничего не знает.

Католическая газета «Германия» обратилась с открытым письмом к президенту Гинденбургу, требуя положить конец бесчинствам, разъясняя, что «Символ веры» всего лишь группа мирных католиков,

далеких от политики. Гинденбург никак не откликнулся, газету закрыли.

В те дни Геринг особенно нуждался в сеансах психотерапии. Он бешено крушил остатки государственного аппарата и полиции, отдавал распоряжения, произносил речи:

– Каждая пуля, которая будет выпущена полицейским, выпущена мной. Если это называть убийством, то считайте, что это убийство совершил я. Я отдал приказ, и ответственность я беру на себя!

Одновременно он обрабатывал крупных промышленников и банкиров, выкачивал из них деньги на поддержку партии, которая надежно защитит их капиталы от коммунистической угрозы.

Из-за постоянного лихорадочного возбуждения Геринг страдал бессонницей, боялся, что начнет опять увеличивать дозы морфия и выйдет из строя в самый ответственный момент. В любое время суток он мог вызвать доктора Штерна, часто это случалось глубокой ночью.

Жирное тело, облаченное в шелковый халат, колыхалось, лицо багровело, блестело от пота. Пальцы-сосиски, унизанные перстнями с гигантскими сапфирами, изумрудами, рубинами, отплясывали нервную чечетку на бархатных подушках кабинетного дивана. Камни сверкали в свете ночника. Под тихий голос доктора, под мерный стук метронома туша переставала колыхаться, руки безвольно повисали. Когда имперский комиссар-министр начинал похрапывать, доктор тихо исчезал со своим метрономом.

Гитлер носился по стране, перелетал на самолете из города в город, собирал толпы на митинги, во время выступлений передвижные радиостанции вели прямую трансляцию. На улицах Берлина появились радиотарелки, из них звучал голос ефрейтора:

– Я непоколебимо убежден, что настанет час, когда миллионы тех, кто нас ненавидит, встанут за нами и вместе с нами будут приветствовать сообща созданный, завоеванный в тяжелейшей

борьбе, выстраданный нами новый Германский рейх величия и чести, мощи, великолепия и справедливости. Аминь!

Между речами звучала музыка Вагнера. Динамики орала. Днем грохотали сапогами колонны штурмовиков, ночью звенели стекла, орала луженые глотки, хлопали выстрелы.

Поскольку никаких отравлений, диверсий, поджогов не происходило, а борьба с невидимыми заговорщиками велась слишком шумно и грязно, консерваторы решились выразить Гитлеру свое недовольство, пригрозили, что отстранят его от власти и вернут кого-нибудь из свергнутых Гогенцоллернов. Не прошло и суток, как всей Германии и всему миру было предъявлено неопровержимое доказательство, что заговор существует.

Вечером 27 февраля вспыхнул рейхстаг. Поджигателя поймали на месте преступления. Когда явилась полиция, он бегал полуголый по залу заседаний, размахивая тлеющими тряпками. Он оказался голландцем двадцати четырех лет по фамилии ван дер Люббе, безработным бродягой. В качестве факела он использовал собственную рубашку и скатерть, которую прихватил в ресторане рейхстага. В здание проник через разбитое окно. При аресте объявил себя коммунистом, но не желал выдавать сообщников.

Позже к делу приплели трех болгарских коммунистов. В сентябре в Лейпциге состоялся суд. На заседаниях присутствовало множество иностранных корреспондентов. Стенограммы печатались в газетах.

Впервые Карл взялся читать газеты. В теплые осенние дни они иногда встречались с Бруно в Тиргардене, делились впечатлениями о прочитанном.

На процесс явился Геринг в охотничьей кожаной куртке, зеленых галифе, сверкающих сапогах со шпорами и стал цитировать «Коричневую книгу», выпущенную к тому времени за рубежом немецкими антифашистами, разошедшуюся по миру и запрещенную в рейхе.

– В «Коричневой книге» утверждается, будто мой друг Геббельс предложил мне поджечь рейхстаг и я с радостью осуществил этот

план. Дальше утверждается, что я наблюдал за этим пожаром, закутавшись в голубую шелковую тогу. Не хватает только утверждения, что я играл при этом на флейте, как Нерон при пожаре Рима! «Коричневая книга» – это подстрекательская писанина, которую я приказываю уничтожить всюду, где я ее увижу! Вам, господа судьи, нечего возиться с этим идиотским расследованием, ибо тем самым мы сводим на нет все наши собственные понятия о праве.

На нескольких заседаниях происходила забавная перепалка между Герингом и болгарским коммунистом Димитровым, самым бойким из подсудимых. Болгарин отлично владел немецким, был остроумен, хладнокровен. Первый его вопрос вызвал замешательство судей и бешенство Геринга.

Димитров: Господин министр, возможно ли, что поджигатели проникли в рейхстаг через подземный ход?

Все знали, что дворец, в котором обосновался Геринг, находился напротив рейхстага, но о том, что дворец и здание рейхстага соединены подземным туннелем, по которому проходят трубы центрального отопления, не знал почти никто, даже судьи. Геринг не нашел ничего лучшего, как заорать: **«Вон отсюда, подлец!»** – и затопать ногами. Димитров спокойно заметил, что очень доволен ответом господина премьер-министра, и продолжил задавать свои вопросы.

Димитров: Я спрашиваю, что сделал господин министр внутренних дел 28 и 29 февраля и в последующие дни для того, чтобы в порядке полицейского расследования разыскать истинных сообщников ван дер Люббе? Что сделала ваша полиция?

Геринг: Я не чиновник уголовной полиции, я ответственный министр, для меня важно установить вовсе не личность отдельного мелкого преступника, а ту партию, то мировоззрение, которые за это отвечают. Эту партию необходимо уничтожить!

Димитров: Известно ли господину премьер-министру, что партия, которую он желает уничтожить, правит на одной шестой земного

шара, а именно в Советском Союзе, и что Германия поддерживает с Советским Союзом дипломатические, политические и торговые отношения, что его заказы дают работу сотням тысяч германских рабочих?

Геринг: Мне прежде всего известно, что русские расплачиваются векселями, и было еще приятнее узнать, что эти векселя оплачены.

На следующий день в газетах появилось правительственное уведомление:

«В связи с ложными сообщениями и тенденциозным отношением к высказыванию премьер-министра Пруссии Геринга на процессе о поджоге рейхстага сообщается, что Советское правительство соблюдает свои обязательства по отношению к Германии».

– Твой веселый пациент сгоряча ляпнул глупость, за которую Гитлеру пришлось извиняться, – со смехом заметил Бруно. – Советские заказы – это серьезно, ссориться со Сталиным Гитлер пока не хочет.

– Почему «пока»? – спросил Карл.

Бруно в ответ промычал что-то неопределенное и углубился в чтение очередной стенограммы.

* * *

Белое платье из китайского шелка висело в глубине платяного шкафа, зашитое в марлевый чехол. Мама купила его в тридцать четвертом, когда еще работали торгсины. За платье пришлось отдать дедушкины золотые часы-луковицу и бабушкину брошь – платиновую ласточку, усыпанную мелкими алмазами, последние драгоценные вещицы, которые остались в семье. К часам Маша была равнодушна, а ласточку любила, уговаривала маму сохранить брошь.

Но спорить не имело смысла. Мама почему-то внушила себе, что если Маша наденет это волшебное платье на свадьбу, ее замужество окажется счастливым и долгим. Один раз и на всю жизнь, как у них с папой.

В тридцать четвертом для шестнадцатилетней Маши слово «замужество» ассоциировалось с литературой прошлого века и никакого отношения к «мальчишкам-романчикам» (так она определяла свою личную жизнь) иметь не могло. Мальчишки были балетные, романчики вспыхивали на короткий срок, пока разучивалось какое-нибудь па-де-де, и угасали бесследно, как только партнер менялся.

Маша изредка в порыве откровенности делилась с мамой. Перед сном, если у мамы не было суточного дежурства, она присаживалась к Маше на кровать, они таинственно шептались. Мама использовала дурацкое слово «отношения».

– У тебя разве закончились отношения с Вадиком? Нет, я не могу представить, чтобы у тебя сложились отношения с этим Стасиком.

Когда маме кто-то не нравился, она прибавляла к имени местоимение «этот», «эта». Если человек не нравился очень сильно, мама отбрасывала имя, использовала только местоимение. «Этот угробил больного. Эта строчит доносы».

Во время вечерних разговоров Васька притворялся спящим, но подслушивал и вдруг вскакивал, противным писклявым голосом передразнивал Машу.

– Мамочка, ты не понимаешь, у нас все очень серьезно! – он корчил рожи, заламывал руки. – Ах, ах, я сейчас зарыдаю, упаду в обморок! Любовь до гроба, дураки оба!

Маша кричала шепотом:

– Сам ты дурак! Хватит подслушивать! Спать сию минуту!

Васька притворно всхлипывал, шмыгал носом, прятался за маму, как будто Маша собиралась его ударить, бормотал жалобно:

– Мамочка, чего она такая злая, чего она на меня орет?

– Дети, прекратите! Вася, кончай паясничать, ну-ка быстро в постель! Маша, ты должна быть терпимее, ты старшая!

– Мне надоело быть старшей, всю жизнь только и слышу: ты старшая, ты должна быть терпимее! Я не виновата, что вы меня первую родили, ему все можно, а мне ничего нельзя, – ворчала Маша.

– Лучше бы я был старший, у меня хотя бы мозг есть, а у нее только ноги и чувства! – парировал Вася, прыгал в постель и уже из-под одеяла, высунувшись украдкой, шипел свое коронное: – Машка-какашка!

Это были первые его слова. В годовалом возрасте вместо того чтобы, как все нормальные дети, сначала сказать «мама», потом «папа», в крайнем случае наоборот, Вася отчетливо произнес: «Маська-какаська» и схватил сестру за нос. С тех пор они постоянно ссорились и мирились. Родители не вмешивались, знали, что все их конфликты заканчиваются не слезами, а смехом. Родители вообще мало ими занимались, папа пропадал в своем КБ, часто уезжал в командировки, мама дежурила в больнице сутками, после дежурств не могла уснуть, бродила бледной непричесанной тенью по квартире.

О том, что произошло ночью на катке у нее с Ильей, Маша никому не сказала ни слова, даже маме. Казалось, это невозможно описать, это не имеет названия. Слово «любовь» слишком затерто, опошлено, а фразочка «он сделал мне предложение» звучит как-то жеманно. С мыслью об Илье она просыпалась, ехала в трамвае, шла по улице, разогревалась перед репетициями.

Теперь все, что она делала, посвящалось ему одному. Для него она танцевала, для него долго, тщательно расчесывала волосы массажной щеткой, смазывала ресницы и брови касторовым маслом, надраивала зубы порошком «Особый», чтобы стали белоснежными. Для Ильи надевала свой самый нарядный джемпер с оленями и каждый раз, открывая платяной шкаф, притрагивалась к белому платью. Не доставала его, не примеряла, только тихонько, кончиками

пальцев, поглаживала, как живое существо, чувствуя сквозь слой марли нежный холодок шелка.

Засыпая, она пыталась представить себе, как Илья спит у себя дома, в квартире, где она еще никогда не бывала, и, обращаясь к кому-то, кто ведаёт снами, просила: пусть я приснюсь ему, а он мне. Она уставала за день и спала очень крепко. Проснувшись, никогда не могла вспомнить, что ей снилось.

Все прошлые влюбленности теперь казались глупыми, детскими. Репетируя с Маём Суздальцевым, она переносила на него свои чувства к Илье и даже пыталась найти некоторое сходство.

Прошло три дня, Илья не звонил. Карл Рихардович предупредил ее, что у Ильи такая работа. Он может исчезнуть на неделю, на две, даже на месяц, но обязательно появится. Волноваться не стоит.

«Я и не собираюсь волноваться, – думала Маша. – С какой стати мне волноваться? Он очень скоро позвонит.

То, что между нами произошло, не может оказаться пустой случайностью. Конечно, со стороны это выглядит странно. Только одно свидание, ночь на катке, несколько поцелуев, и все. Ты выйдешь за меня замуж? Видишь ли, у меня очень мало свободного времени, его практически совсем нет. Играть в так называемые брачные игры мне некогда, к тому же я не лось и не павлин. Единственная возможность познакомиться со мной поближе – стать моей женой».

Она повторяла его слова шепотом перед сном, уткнувшись в подушку. Никому ничего не рассказывала еще и потому, что боялась взгляда со стороны. Знала, что мама спросит: ну и где он, твой Крылов? Почему не звонит, не заходит? Может, ты все это выдумала? Огромное чувство, которого ни у кого никогда не бывало... Послушай, так не поступают взрослые люди. Прежде чем делать предложение, надо хотя бы немного узнать друг друга. Может, он просто пошутил, как тот безмянный молодой человек в чеховской «Шуточке»?

Рассказ Чехова «Шуточка» Маша знала почти наизусть. На выпускном экзамене она танцевала в этюде «Шуточка» партию Наденьки. Этюд поставил Сизов, муж Пасизо, он же сочинил музыку. Партию героя, у которого нет имени, поскольку рассказ написан от первого лица, танцевал Май.

«Это совершенно другая история, – спорила Маша неизвестно с кем. – Наденька так и не узнала, кто шептал ей признание в любви, герой или ветер. А я знаю точно, мне вовсе не послышалось, не померещилось, я ничего не придумала».

Звонил телефон, Маша вздрагивала, застывала и не двигалась с места, ждала, когда кто-нибудь другой возьмет трубку. Если бы она каждый раз неслась в коридор к аппарату, мама наверняка стала бы задавать вопросы. После того как брали трубку, она переставала дышать и услышав: «Маша! К телефону!», шла нарочно медленно.

Звонила костюмерша из театра, звонили Май, Катя Родимцева, еще кто-то. Всегда в трубке звучал не тот голос. Маша медленно сползала по стенке, опускалась на пол, сидела, уткнувшись носом в колени, пока кто-нибудь не выходил в коридор. Мама, папа, Вася, Карл Рихардович, застав ее в этой позе, спрашивали:

– Что с тобой?

– Ничего, отдыхаю, расслабляю мышцы.

Оставалось только танцевать, репетировать «Аистенка».

Пока Маша репетировала «пионерку Олю», ее основным партнером был Слава Камалетдинов, «Пионер Вася». Он аккуратно, точно выполнял поддержки, считался хорошим партнером, но Маше не нравилось танцевать с ним, а ему с ней. У них не совпадали темпераменты, они друг друга не чувствовали. Они танцевали не впервые, но ни разу не возникало легкой влюбленности, горячего ветерка, которым должен дышать танец, особенно характерный.

Балет «Аистенок» («Дружные сердца») строился на характерном танце, на потасовках, играх, догонялках. Слава танцевал скучно, без юмора. Другое дело – Май Суздальцев, «злой Петух».

Получив партию Аистенка, Маша получила три дуэта с Маем. Они идеально подходили друг другу, и если бы не появился в ее жизни Илья, сейчас у Маши начался бы романчик с Маем.

Ей нравились его круглые серые глаза, прямые широкие брови, темный ежик волос так и хотелось погладить. Руки у него были не очень сильные, но чуткие, гибкие, и еще – уникальная прыгучесть. Они вместе здорово летали, парили над полом репетиционного зала под сдержанные окрики Пасизо.

После того как на собрании Май толкнул Машу под локоть, подняв ее руку в самый ответственный момент, они еще больше сблизились. Маша рассказала о собрании маме шепотом, закрывшись в ванной и включив воду.

Сама собой сложилась эта семейная привычка – обсуждать некоторые события в ванной. Никто не задавался вопросом: почему мы так делаем? Боимся, что в квартире спрятаны подслушивающие устройства? Боимся соседа, старого милого доктора Карла Рихардовича? Все четверо, включая Васю, чувствовали, что точного ответа на этот вопрос не существует. Есть ответ неточный, и звучит он примерно так: вряд ли наша квартира прослушивается, но мы все равно боимся. Карл Рихардович никогда не станет подслушивать и доносить, но мы все равно боимся.

– Зачем ты это сделала, Машка? – шептала мама. – Зачем села рядом с Лидой? Риск совершенно не оправдан, ей не поможешь, а тебя наверняка взяли на заметку. И как тебе могло прийти в голову не поднять руку? Ты понимаешь, насколько это опасно? У папы сейчас...

– Что? – насторожилась Маша. – Что у папы?

Мама не ответила, принялась протирать тряпкой совершенно чистую раковину и после долгого молчания со вздохом произнесла:

– Май хороший мальчик, спасибо ему.

На следующий день в перерыве между репетициями Маша и Май стояли на лестничной площадке у окна, болтали. Мимо пробежала Света Борисова в накинутой на плечи серебристой норковой шубке.

Шубка была такая шикарная, что Света боялась оставлять ее в гардеробе, запирала в своем шкафу в раздевалке. Май замолчал на полуслове, проводил Борисову странным сощуренным взглядом и прошептал:

– Конфискаты.

– Что?

– Все ее шмотки и побрякушки изъяты у арестованных.

– Почему ты так думаешь? – ошеломленно спросила Маша.

– С кем она спит, знаешь?

– Понятия не имею, мне до этого дела нет.

Подошла Пасизо.

– Суздальцев, Акимова, я вас ищу уже полчаса, хватит болтать, перерыв окончен, марш в зал!

За окном было видно, как Борисова в своей серебристой шубке садится на заднее сиденье новенького сверкающего «паккарда».

– Превратили театр в публичный дом, – пробормотала Пасизо, хлопнула в ладоши и крикнула: – Что застыли? В зал, я сказала, быстро!

После репетиции Маша и Май вместе ехали домой на трамвае. Всю дорогу молчали, репетиция длилась пять часов, сил не было говорить, да и не хотелось. Маша вдруг поймала себя на том, что впервые за эти дни не думает об Илье. В ушах у нее шелестело отвратительное слово «конфискаты».

Еще в училище у некоторых ее однокашниц случались романы с женатыми мужчинами из органов, из наркоматов. Цветы, шмотки, поездки на автомобилях за город, ночевки на шикарных дачах. Девочки таинственно шептались об этом в раздевалке, никогда не называя фамилий своих высокопоставленных ухажеров.

Иногда к Маше после концерта подкатывал какой-нибудь самодовольный хмырь в форме или в дорогом костюме. Маша вежливо извинялась, говорила «я на минутку». Если можно было удрать, удирала домой. Если концерт проходил в охраняемом здании, например в клубе НКВД, откуда просто так не

выскользнешь, пряталась в женском туалете. Как правило, хмырь легко переключался на другую девочку, которая не исчезала.

– Зря выпендриваешься, Акимова, – сказала ей однажды Ира Селезнева. – Ты хотя бы знаешь, кто тебя клеил?

– Кто?

– Товарищ Колода из отдела, который курирует театры, поняла?

– Не-а, не поняла.

– Ну и дура!

У товарища Колоды были малюсенькие мышинные глазки и пованивало изо рта. Маша предпочитала оставаться душой.

Ира Селезнева к восемнадцати годам сделала четыре аборта. Света Борисова, к которой после исчезновения Маши подкатил товарищ Колода, расцвела, похорошела, за ней приезжал шикарный автомобиль, от нее пахло французскими духами «Коти», у нее появилась куча платьев, костюмов, кольца и сережки с настоящими драгоценными камнями.

«Значит, все это конфискаты, вещи, взятые при арестах, вещи убитых», – думала Маша, глядя в окно трамвая на заснеженный темный город.

Мела метель, фонари горели тускло, силуэты прохожих казались призраками. Спрыгнув со ступеньки трамвая, Маша чуть не упала. Было ужасно скользко. Она все еще ходила в валенках, правда, не в старых Васиных, а в новых, но без галош. Галоши исчезли из продажи, а о новых ботинках пока не стоило и мечтать.

Май поймал ее на лету, взял под руку.

– Знаешь, сегодня пришло письмо от тети Наташи, это мамина сестра, она осталась в Ленинграде после ареста моих. Она одинокая, работает корректором в научном издательстве. Жила очень тихо, носила им передачи. Теперь ее высылают из Ленинграда. А передачи перестали принимать еще в прошлом году. У них обоих, у мамы и папы, десять лет без права переписки. Это означает...

Он вдруг остановился, взял Машу за плечи, повернул лицом к себе.

– Машка, поцелуй меня!

Она чмокнула его в холодную щеку.

– Нет, не так, – он прижался губами к ее губам, потом отстранился и произнес: – Десять лет без права переписки – это означает расстрел.

– Почему? Совсем не обязательно, – она не почувствовала поцелуя, губы застыли на морозе.

Было жалко Мая и его родителей, которых она никогда не видела, его бабушку, которая все время болела, и себя и своих родителей тоже жалко, хотя ничего плохого не произошло. Но ведь может произойти. Она вспомнила, какое было у мамы лицо, когда они шептались в ванной и мама сказала: «У папы сейчас...».

«Мама замолчала на полуслове потому, что у папы на работе уже арестовали несколько человек и в любой момент... А вдруг Илья исчез из-за этого? Он служит где-то наверху, там известно заранее, кого должны взять, и он теперь не может жениться на мне, ведь если возьмут папу, я стану дочерью врага народа».

Она не желала об этом думать, требовалось срочно сочинить какой-нибудь стишок, заесть стишком тошнотворный страх.

Страх сведет меня с ума,
он холодный, как зима.
В этой вьюге нету брода,
ты и я – враги народа.

Стишок никуда не годился, он получился совсем бредовый, жуткий. Стало только хуже. Чтобы забыть, вытряхнуть его из головы, она заговорила громким бодрым голосом:

– Май, успокойся, послушай, ведь их арестовали по ошибке, и многих других тоже по ошибке. Все ошибки рано или поздно исправляются, их выпускают, даже с извинениями, вот увидишь.

– Брось, Машка, не нужно, все это я самому себе и бабушке повторяю каждый день.

Они пошли дальше по Мещанской сквозь метель. Май крепко держал ее под руку.

– Май, пожалуйста, не верь, что твоих родителей расстреляли, просто не верь, и все, – тихо бормотала Маша. – Они живы, вернутся домой, так не бывает, чтобы столько людей сажали в тюрьму ни за что, должно быть какое-то объяснение, и должен прийти конец этому ужасу.

– Мг-м, – промычал Май, – вот твоя парадная. Знаешь, чем отличаются ленинградцы от москвичей? Мы говорим «парадная». Вы – «подъезд». У нас хлебом называют только черный, белый это булка. У вас хлеб и черный, и белый, а булка сдобная, сладкая. И еще у нас есть слово «поребрик», а у вас такого слова нет. Машка! – Он обнял ее, зашептал на ухо: – Машка, будь, пожалуйста, осторожней, поднимай руку на собраниях, держись подальше от Борисовой, от Селезневой, от товарищей колод, и молчи, молчи. У нас с тобой отличная профессия. Мы молча танцуем. Просто танцуем, и все.

Глава восьмая

Приход к власти нацистской партии отразился на жизни семьи доктора Штерна наилучшим образом. Доктор стал необычайно моден, лечил только избранных, и платили ему по самому высокому тарифу, исчезла необходимость работать в клинике. Образовалось больше свободного времени, но силы таяли. Почти каждую ночь повторялся кошмарный сон: бешеное верчение черной воронки, исчезновение во мраке. Карл спокойно и отстраненно констатировал у себя глубокую затяжную депрессию и не понимал, каким образом ему удастся лечить своих капризных пациентов.

Сеансы психотерапии давно превратились в рутину, в ритуальное повторение одних и тех же текстов и жестов, самым осмысленным из которых было получение гонорара наличными. Доктор чувствовал себя шарлатаном, мошенником и подозревал, что именно в этом кроется секрет его успеха у нацистов.

– Я такой же, как они, – признался он Бруно. – Я постоянно вру, я насквозь фальшивый и никчемный человек. Не могу говорить с Эльзой, у нее эйфория, она верит в гениальность Гитлера, твердит, что национал-социализм единственная сила, способная возродить Германию и защитить немцев от чумы большевизма.

– Ты знаешь, а ведь она права, – задумчиво произнес Бруно. – И в том, что он гений, и в том, что национал-социализм единственная альтернатива большевизму. Демократический эксперимент для Германии оказался неудачным. Веймарская республика провалилась. Было десять партий, осталась одна. И возглавляет ее гений. Вспомни, каким он был в ноябре восемнадцатого и чего достиг за пятнадцать лет! Человек, не имеющий образования, профессии, семьи, истерик, демагог. Внешность самая заурядная, голос резкий, противный. Иностранец, чужак. Бывший австрийский подданный без определенных занятий. Ну признай, наконец, его гениальность.

Карл не мог определить, когда Бруно шутит, когда говорит серьезно. Но других собеседников не было. Со всеми, кроме Бруно, приходилось притворяться, прятать свою депрессию и реальное отношение к происходящему.

Несколько раз его возили к Гитлеру. Соратников и адъютантов пугало, когда фюрер впадал в прострацию, переставал реагировать на окружающих, не отвечал, если к нему обращались. Иногда это состояние длилось несколько минут, иногда растягивалось на долгие часы и приводило к сильным кишечным коликам, которые фюрер принимал за симптомы раковой опухоли.

Однажды доктор робко заметил, что по поводу колик лучше обратиться к специалисту по кишечным болезням и, если так мучает канцерофобия, возможно, стоит показаться онкологу, сделать рентген. Предложил он это не самому фюреру, а Гессу и тут же услышал гневную отповедь:

– Как вы это себе представляете? Кто-то будет щупать живот фюрера, брать анализы, просвечивать рентгеном? Дорогой доктор, поймите, наконец: фюрер не обычный смертный, как мы с вами. Он избранный, его хранят небесные силы и само Провидение. Приступы возникают оттого, что внутри фюрера происходит концентрация и активизация мощных потоков космической энергии. В организме создается чрезмерное напряжение, и ваша задача помочь организму, смягчить процесс, расслабить мышцы.

Карл не возражал. Он готов был согласиться с Гессом. Гитлер не обычный смертный. Обычный смертный с такой тяжелой формой истерии давно лежал бы в клинике. Но парадокс заключался в том, что Гитлер вовсе не был сумасшедшим, он вел себя как буйно помешанный, мастерски изображал безумие, невменяемость и привлекал миллионы здравомыслящих немцев именно этим.

Доктор не понимал, зачем его визиты понадобились самому Гитлеру. Состояния прострации, так же как истерические припадки, были всего лишь игрой, он оставался эмоционально холоден и неуязвим. Как Герингу не приносили вреда килограммы лишнего

жира и морфий, так Гитлеру не становилось плохо от бешеных припадков, после которых любой человек мог потерять сознание. Для Гитлера единственной проблемой было вспучивание живота и выход газов, сопровождавшийся звуками и запахами. Обычные средства – толченый древесный уголь, укропная настойка – не помогали. Только психотерапия, и только в исполнении доктора Штерна.

В один из своих визитов доктор застал фюрера катающимся по ковру. Иногда он останавливался и, лежа на животе, приподняв голову, колотил кулаками, выкрикивая:

– Не смей! Я не позволю! Подводные лодки! У меня будет много подводных лодок! Я поплыву на подводной лодке! Молчать, грязная свинья!

В комнате, кроме адъютанта и Гесса, находился лысый толстяк с приплюснутым широким лицом. Лицо жирно лоснилось и было обезображено шрамом. Доктор узнал руководителя штурмовиков СА Эрнста Рема. Вероятно, именно его фюрер назвал грязной свиньей, об их разногласиях в последнее время говорил весь Берлин. Гесс чуть не плакал, бормотал, едва шевеля белыми губами:

– Мой фюрер, мой дорогой, любимый фюрер!

Адъютант сохранял почтительное спокойствие, держал в руке стакан воды. Рем презрительно усмехался, посасывал незажженную сигару. Фюрер подкатился к краю ковра и вцепился зубами в шелковую бахрому.

– Адольф, я знаю, что ты вегетарианец, но не думал, что ковры входят в меню, – сказал Рем и вышел, хлопнув дверью.

– Негодяй! Он за это ответит! – воскликнул Гесс.

Гитлер выплюнул бахрому, вскочил на ноги, взял из рук адъютанта стакан, осушил его одним глотком и выронил. Стакан упал на ковер, не разбился. Несколько долгих минут Гитлер стоял неподвижно, уставившись куда-то сквозь стену. Доктор заметил, что веки ни разу не дрогнули. Нормальный человек не мог бы так долго не моргать. В глазах появилось то, что многие называли ледяным сиянием, они

вспыхнули изнутри. Верхняя губа с усиками задрожала, и Гитлер изрек совершенно спокойным, мягким, немного утомленным голосом:

– Наша революция есть новый этап, вернее, окончательный этап революции, который ведет к прекращению хода истории. Вы ничего не знаете обо мне. Мои товарищи по партии не имеют никакого представления о намерениях, которые меня одолевают. И о грандиозном здании, фундаменты которого будут заложены до моей смерти. Мир вступил в решающий поворот. Мы у шарнира времени. На планете произойдет переворот, которого вы, непосвященные, не в силах понять. Происходит нечто несравненно большее, чем явление новой религии.

Монолог завершился долгим громким залпом, завоняло сероводородом.

– А все-таки какой бы ты поставил ему диагноз? – спросил Бруно во время очередной прогулки в Тиргартене.

– Мания величия, – ответил Карл.

– И только? – Бруно был явно разочарован. – Но этим страдает большинство политиков. Что еще?

– Moral insanity.

– Моральное безумие? Тоже очень распространенная болезнь политиков.

– Патологическое отсутствие способности к моральной оценке, абсолютный эгоизм, эмоциональная холодность и полнейшая беспардонность, – быстро пробормотал Карл. – Впрочем, я говорю ерунду. Он чудовище, но вменяемое чудовище. Знаешь, не прошло и года после самоубийства Гели, как попыталась застрелиться его очередная подруга, такая же молоденькая жизнерадостная девушка, Ева Браун. Ее спасли.

– Думаешь, у него есть какая-то скрытая сексуальная патология? Ведь не просто так стреляются молоденькие жизнерадостные девушки, когда становятся его любовницами.

– Насчет сексуальных патологий не знаю, да это и неважно. Все его существо сплошная патология. Девушки стреляются потому, что его близость делает жизнь невозможной. У него несокрушимая воля к катастрофе. Вряд ли они отдают себе в этом отчет, но чувствуют тоску, отчаяние. Знаешь, я тоже это чувствую. Конечно, стреляться не собираюсь, но никак не могу вылезти из депрессии.

Бруно вздохнул, потрепал его по плечу. Несколько минут шли молча, слушали крик уток, крики и смех какой-то компании на лужайке. Позади раздались топот множества ног, трель свистка.

По аллее прямо на них неслась команда бегунов. Юноши в трусах и майках с выбритыми затылками и висками казались совершенно одинаковыми, сбоку бежал тренер в длинных штанах, со свистком. Карл и Бруно едва успели сойти с аллеи, прижались к мокрым кустам. Обдало горячим воздухом и крепким запахом пота.

– Молодежная группа СС, – сказал Карл, когда бегуны скрылись за поворотом и затихла трель свистка. – Гиммлер выводит новую породу людей, арийскую элиту, которая будет править миром в ближайшее тысячелетие. Принцип отбора – чистота крови до седьмого колена, высокий рост, голубые глаза, светлые волосы. Мой Отто мечтает попасть в СС.

– Ну что ж, он вполне подходит по всем параметрам. Сколько ему?

– Пятнадцать. Бруно, я смертельно устал. Мне хочется однажды проснуться в нормальном мире и забыть все это как ночной кошмар.

– Забыть? Ни в коем случае! Ты имеешь возможность наблюдать совсем близко уникальных исторических персонажей. Кто знает, как повернется жизнь? Твои наблюдения могут очень пригодиться.

– Кому?

– Потомкам. Когда-нибудь проснешься в нормальном мире, выпьешь кофе и сядешь писать мемуары.

Да, прогулки и разговоры с Бруно бодрили. Карл не чувствовал себя таким одиноким. Впрочем, был еще один человек, которому не нравился Гитлер, – десятилетний Макс.

В гимназии Макс приходилось вместе со всем классом петь:

Адольф Гитлер – наш спаситель, наш герой,
он благороднейший человек на земле.
Мы живем для Гитлера,
мы умрем для Гитлера,
Гитлер – наш бог.

Макс шепотом признался отцу, что не может петь, сразу тошнит. Во время хорового пения он только открывал рот. Однажды мальчик, стоявший рядом, заметил, донес учителю. Пришлось врать, что заболело горло. Один раз сработало, но постоянно горло болеть не может.

Было мучительно стыдно объяснять сыну, что ему придется петь, и выбрасывать правую руку в нацистском приветствии, и маршировать, и притворяться, что ты – как все.

И стало совсем уж тоскливо, когда ребенок не задал ни единого вопроса, покорно кивнул и сказал:

– Да, папа, я понимаю, я постараюсь.

В отличие от Макса, пятнадцатилетний Отто кипел романтическим энтузиазмом. Его завораживали мифы. Атлантида, древняя раса сверхлюдей, магическая символика рун, факельные шествия, ночные костры, походы, военные игры, спортивные соревнования – все это заполняло его жизнь. Эльза твердила, что Отто растет здоровым, сильным, свободным от сложных подростковых комплексов, которые мучают и уродуют мальчиков в переходном возрасте. А вот Макс ее тревожил. Слишком закрытый, мрачный.

Мальчики почти не общались друг с другом, любой пустяшный бытовой разговор мог закончиться жестокой ссорой. Отто стал нервным, агрессивным, зло подшучивал над пожилой горничной Магдой, корчил рожи у нее за спиной, передразнивал ее

шепелявость, неуклюжую походку. Отказывался пить молоко, потому что молочник горбун, а все горбуны коммунисты и молоко может быть отравлено. Выбросил новый джемпер, потому что он куплен в еврейском магазине и в узоре отчетливо видны шестиконечные звезды. Никакие слова на него не действовали. В ответ он молча усмехался, хлопал дверью своей комнаты, включал радио на полную громкость и под бравурные марши упражнялся с гантелями, качал мускулы.

Однажды Эльза нашла у него на столе несколько номеров газеты «Дер Штюрмер». Там были картинки: страшные носатые евреи насилуют белокурых арийских девушек. Голые девушки в публичном доме, жирный хозяин-еврей подсчитывает прибыль. В статье Юлиуса Штрайхера, главного редактора «Дер Штюрмер», карандаш Отто подчеркнул фразу о том, что девяносто процентов проституток Германии вовлечены в свою профессию евреями. Эльза бросила газеты в камин и тут же заявила, что Юлиус Штрайхер просто грязный ублюдок, который под прикрытием идеологии распространяет порнографию.

– Юлиус Штрайхер видный партийный деятель, – напомнил Карл, – депутат рейхстага, друг и соратник Гитлера. Тираж «Штюрмера» шесть миллионов, ты много раз видела эту газету на улицах, в ларьках.

– Перестань! Я уверена, это провокация. Скорей всего, Штрайхер сам еврей и нарочно доводит идеи фюрера до абсурда, чтобы оттолкнуть от них простых людей, – она чиркнула спичкой и подожгла газеты.

Огонь в камине весело разгорелся. Карл смотрел на освещенный розовым светом профиль жены и вдруг произнес:

– Эльза, у тебя нос с горбинкой, губы пухлые, волосы вьются.

Она застыла, несколько секунд сидела неподвижно, потом вскочила, бросилась к зеркалу.

– Карл, что ты говоришь! Я блондинка, натуральная, некрашенная, и глаза у меня голубые, Карл, как ты можешь?

– Блондинка? Нет, Эльза, ты рыжая, а это типично еврейский цвет волос, – он взял с каминной полки фотографию, протянул Эльзе. – Если бы твой брат Отто не погиб на войне, наверняка сейчас кто-нибудь заинтересовался бы его, а заодно и твоей родословной. Видишь, у него типично семитские черты. Горбатый нос, пухлые губы, выпуклые глаза, кудрявые волосы, прямо как на карикатурах в «Штюрмере».

– Карл, что ты несешь? Ты отлично знаешь, вся наша семья – чистокровные немцы! Прабабушка Гертруда была родом из Голландии, но голландцы относятся к нордической расе.

– В Амстердаме издавна полно евреев. Твой прадедушка был ювелиром, типично еврейская профессия. И звали его Якоб Берг. Типично еврейское имя.

– Но они были протестанты!

– Выкресты, как многие евреи. По линии Бергов в тебе, Эльза, безусловно есть еврейская кровь.

– Карл, эта линия безупречная, кристально чистая. Берги – голландцы! Зачем ты все это говоришь? Почему ты такой жестокий? – она всхлипнула, хотела выбежать из гостиной, но Карл удержал ее, обнял, прижался носом к ее макушке и прошептал:

– Прости. Конечно, я знаю, Берги – голландцы, и как все голландцы, относятся к высшей арийской расе. Но я больше не могу спокойно наблюдать, как ты сходишь с ума, а вместе с тобой Отто.

Он так и не понял, услышала его Эльза или нет, она судорожно, горько рыдала. Он гладил ее по голове. Рубашка у него на груди промокла от ее слез. Наплакавшись, она умылась и, глядя на свое отражение в зеркале над раковиной, сказала:

– Нет, нет, я совершенно не похожа на еврейку.

* * *

Поскребышев открыл дверь, заглянул, но в кабинет не зашел, буркнул что-то, захлопнул дверь и побежал дальше. Это означало, что Хозяин выехал с Ближней дачи. Поскребышев проверял, на месте ли спецреференты. Он никогда не делал этого по внутреннему телефону, ему необходимо было увидеть каждого своими глазами.

В коридоре слышался тяжелый топот. Бегала, суежилась охрана. Все проверялось в тысячный раз. Уборщицы стирали последние невидимые пылинки с подоконников, перил, дверных ручек. В буфете заваривали свежий чай, нарезали теплый хлеб.

Спецгруппа врачей ежедневно снимала пробы с продуктов, собирала в пробирки воздух сталинского кабинета, на анализ брали чернила из чернильницы, грифели карандашей, бумагу, ворсинки ковров. Огромный сложный механизм под названием Кремль работал безупречно. Два года назад, в 1935-м, его основательно прочистили, проверили каждую деталь, негодные колесики и винтики заменили новыми, более надежными и совершенными.

В 1934-м, когда Илья получил должность спецреферента, кремлевским хозяйством заправлял секретарь ЦИК СССР Авель Сафронович Енукидзе, добродушный голубоглазый грузин, старинный друг хозяина, крестный отец его жены Надежды Сергеевны. Заслуженный большевик, участник трех революций, он с удовольствием пользовался плодами героической борьбы за рабочее дело. Главной его слабостью были женщины. Он знал в них толк, любил блондинок и брюнеток, худышек и полненьких, юных и зрелых, комсомолок и беспартийных. Щедрость его была безгранична. Каждую красавицу, завладевшую его горячим большевистским сердцем, он одаривал талонами в закрытый распределитель, билетами в правительственные ложи лучших театров и стадионов, должностями, квартирами, путевками на курорты. Он жил широко, весело и не обращал внимания на сигналы о контрреволюционных высказываниях кремлевской челяди.

Тогда, в 1934-м, челядь еще болтала что хотела, почти открыто, не понижая голоса.

– **Товарищ Сталин хорошо ест, а работает мало. За него люди работают, потому он такой и толстый. Имеет себе всякую прислугу и всякие удовольствия,** – ворчала, надраивая пол, уборщица Анастасия Константинова тридцати трех лет.

– **Товарищ Сталин получает денег много, а нас обманывает, говорит, что получает двести рублей. Он сам себе хозяин, что хочет, то и делает. Может, он несколько тысяч получает, да разве узнаешь?** – вторила ей уборщица Бронислава Катынская, тридцати девяти лет.

Их товарка Анна Авдеева двадцати одного года, отжимая половую тряпку над ведром, заявила:

– **Сталин убил свою жену. Он нерусский, очень злой, ни на кого не смотрит хорошим взглядом, а за ним-то все ухаживают!**

Сантехник Михаил Зыков, ликвидируя засор в женской уборной, в присутствии уборщиц Мешаковой, Жалыбиной и Авдеевой рассказал анекдот:

– **Как можно за две копейки удивить за границу и обрадовать население СССР? Убить Сталина. Пуля две копейки стоит.**

Уборщицы хихикали, особенно громко та, которая обо всем этом донесла.

Прочитав очередной донос, Авель Сафронович махнул рукой, сказал, что у него нет ни времени, ни желания разбираться в болтовне уборщиц. Комендант Кремля Петерсон Рудольф Августович^[6] также не придавал значения тревожному сигналу. Но товарищи из органов отнеслись к этой информации весьма серьезно. Первой вызвали Авдееву. Она сначала все отрицала, потом призналась, что контрреволюционные сплетни, будто товарищ Сталин застрелил свою жену, ей передала телефонистка Кочетова.

Кочетова, двадцать лет, член ВЛКСМ, тоже вначале все отрицала, потом призналась, что провокационную клевету на товарища Сталина услышала от Синелобовой, библиотекарки кремлевской библиотеки, беспартийной, двадцати девяти лет.

Синелобова призналась сразу и назвала много имен. Следствие особенно заинтересовалось двумя библиотекарями правительственной библиотеки: Раевской Е.Ю., тридцати одного года, урожденной княжной Уросовой, и Розенфельд Н.А., сорока девяти лет, из рода князей Бебутовых.

Эта Розенфельд, мало что княжеского рода, была замужем за братом троцкиста Л.Б. Каменева, Розенфельдом Н.Б.

Мгновенно был арестован их сын, Розенфельд Б.Н., двадцати шести лет, инженер Мосэнерго. Он признался, что его отец Розенфельд и дядя Каменев говорили о необходимости устранения Сталина, а мать выражала готовность лично убить Сталина.

К апрелю 1935-го органы вскрыли крупные террористические группы в Оружейной палате, правительственной библиотеке, комендатуре Кремля, а также террористическую группу троцкистской молодежи. Все работали на разведки иностранных государств. Все готовили убийство товарища Сталина.

Библиотекари, бывшие дворянки-белогвардейки, пытались проникнуть в квартиру товарища Сталина с целью совершения над ним террористического акта. Одна библиотекаря, бывшая графиня, собиралась пропитать ядом страницы книг, которые читает товарищ Сталин. Кроме графини-отравительницы, имелись еще отравители-водопроводчики, они готовились подмешать яд в систему водоснабжения Кремля. Отравитель из кремлевской комендатуры женился на подавальщице с целью отравить еду, которую она будет подавать товарищу Сталину.

Многие участники и в особенности участницы кремлевских террористических групп пользовались прямой поддержкой и высоким покровительством товарища Енукидзе. Он лично принимал их на работу, с некоторыми сотрудницами сожительствовал. Таким образом в аппарат ЦИК СССР проникли деклассированные элементы, последыши дворянства, бывшие княгини, графини и т. д. Они представляли собой контрреволюционный блок зиновьевцев, троцкистов, агентов иностранных государств.

Когда только заваривалось «Кремлевское дело», Илья ждал ареста каждый день и пытался угадать, как именно это произойдет. Возьмут его на службе, прямо в Кремле, или явятся ночью домой? Но скоро он понял, что коршуны Ягоды облетают Особый сектор стороной. Спецреферентов не трогают, потрошат комендатуру, службу и секретариат ЦИК.

В кремлевских кулуарах все догадывались, что главной мишенью был Енукидзе. Илья думал: «Неужели чтобы уничтожить доброго Авеля, требуется такая грандиозная театральная постановка? Сто двенадцать действующих лиц, девять расстреляны, остальные посажены. Сотни страниц протоколов допросов, яды, бомбы, гранаты, револьверы – только ради Авеля?»

Перепуганные уцелевшие служащие шептались совсем тихо, но все-таки еще шептались, перебирали, как четки, грехи арестованных, словно вымаливали ответ на вопрос «За что?». Перечень грехов очередной жертвы создавал иллюзию, будто существует некий свод правил безопасности. Вспоминали неосторожные высказывания, ходатайства за арестованных, какие-то статьи и брошюры, в которых Енукидзе неправильно отразил роль Хозяина в революционном подполье, нашумевшую историю о двух юных сотрудницах секретариата ЦИК. Товарищ Енукидзе возил к себе на дачу обеих, потом выдал им отличные характеристики, пристроил в советскую торговую делегацию в Париж, щедро снабдил валютой. Из Парижа девушки на родину не вернулись.

Встречая поникшего, растерянного Енукидзе в коридоре, Илья думал: «Эх, Апель Сафронович, вы же неглупый человек, почему не догадались вовремя смыться? Двум девчонкам помогли сбежать, а сами? Что вас держит? Жены и детей у вас нет. Неужели верите, что Инстанция пощадит вас по старой дружбе?»

Новая кремлевская челядь ни о чем не шепталась, анекдотов не рассказывала, частушек не пела. Все боялись друг друга и старательно строчили доносы. Существовала устойчивая иллюзия,

что доносчика не посадят, он свой, бдительный, преданный, нужный. Но и доносчиков брали.

В постановлении Политбюро «Об аппарате ЦИК СССР и тов. Енукидзе» от 3 апреля 1935 года отмечалось: **«Само собой разумеется, что тов. Енукидзе ничего не знал о готовящемся покушении на товарища Сталина. Его использовал классовый враг как человека, потерявшего политическую бдительность и проявившего несвойственную коммунистам тягу к бывшим людям».**

Не знал тов. Енукидзе, при всем желании не мог знать о том, чего не существовало в реальности. Никакого «Кремлевского заговора» не было, покушения на товарища Сталина никто не готовил. Авеля Сафроновича действительно использовали, но вовсе не уборщицы, не водопроводчики, не графини-библиотекарши, а сам товарищ Сталин в своих, ему одному ведомых целях.

Среди документов, с которыми работал Илья, готовя первую сводку для Хозяина в январе 1934-го, имелось письмо, датированное августом 1933-го. Его отправил из Москвы в Берлин посол Германии Дирксен. Это был отчет о поездке на дачу к Енукидзе. Вместе с послом в гости к Авелю явился советник посольства фон Твардовски, также присутствовали заместители наркома иностранных дел Крестинский и Карахан.

Посол Дирксен подробно пересказывал слова Енукидзе.

«Руководство СССР уверено, что национал-социалистическая перестройка Германии послужит делу укрепления германо-советских отношений. После захвата власти агитационный и государственный элементы внутри партии размежуются. Германское правительство обретает полную свободу действий, которой советское правительство пользуется уже много лет. В Германии, как и в СССР, есть люди, ставящие на первый план партийно-идеологические цели. Их надо сдерживать с помощью государственного мышления».

Советская пресса проклинала немецкий фашизм, для прогрессивной мировой общественности СССР стал оплотом борьбы с национал-социализмом. Сквозь багровый дым официальной пропаганды Сосо дружески кивал и подмигивал Адольфу: маска, я тебя знаю, мы с тобой можем договориться.

Октябрем 1933-го были датированы телеграммы фон Твардовски в Берлин, в которых он докладывал об инициативах «нашего советского друга». Этим «другом» был известный большевистский журналист, остроумный пройдоха Карл Радек. Он предлагал устроить в Москве встречу Дирксена с Молотовым. Дирксен к тому времени был переведен послом в Японию и собирался посетить Москву с прощальным визитом. Встреча состоялась. Через Дирксена, устами Молотова, Сосо передал Адольфу очередной горячий привет.

«Двурушник, – бормотал про себя Илья, вчитываясь в перехваченные отчеты немцев о тайных переговорах. – Товарищ Сталин – двурушник».

На жаргоне профессиональных нищих «двурушничать» – значит в толпе, из-за спин товарищей, протягивать для подаяния не одну, а обе руки. Словечко так нравилось Инстанции, что приобрело новое, политическое значение, мелькало в митинговых речах, обвинительных заключениях, газетных статьях. Двурушниками называли замаскировавшихся вредителей и шпионов. Товарищ Сталин, заигрывая с Гитлером, вел себя как двурушник в изначальном, нищенском смысле, протягивал обе руки.

Илья пытался отыскать хотя бы намек на ответную реакцию фюрера.

Из разведсообщений и перехваченной дипломатической переписки 1933–34-го следовало, что Гитлер намерен сотрудничать с поляками, французами, англичанами, с кем угодно, только не с Россией. Риббентроп летал в Париж, Геббельс в Варшаву, полным ходом шли тайные и официальные переговоры. В январе 1934-го был заключен пакт о ненападении между Германией и Польшей.

Предложения Сталина фюрер игнорировал. Судя по всему, тайная миссия Авеля Сафроновича провалилась.

Повинуясь больше инстинкту, чем здравому смыслу, Илья не упомянул в своей первой сводке письмо Дирксена. Никакой новой информации в письме не содержалось, хозяин и так отлично знал, о чем беседовал Енукидзе с немецким послом. Касаться этой темы стоило, лишь когда Гитлер откликнется, в одну протянутую руку положит очередные миллионные кредиты, другую пожмет в знак тайной сердечной дружбы.

Именно тогда, весной 1934-го, сама собой включилась и заработала в сознании спецреферента Крылова система трех «У». Чтобы Уцелеть, следовало Угодить Инстанции, то есть правильно расставлять акценты в сводках. А для этого нужно было Угадать, как относится к Гитлеру не товарищ Сталин, а уголовник Сосо.

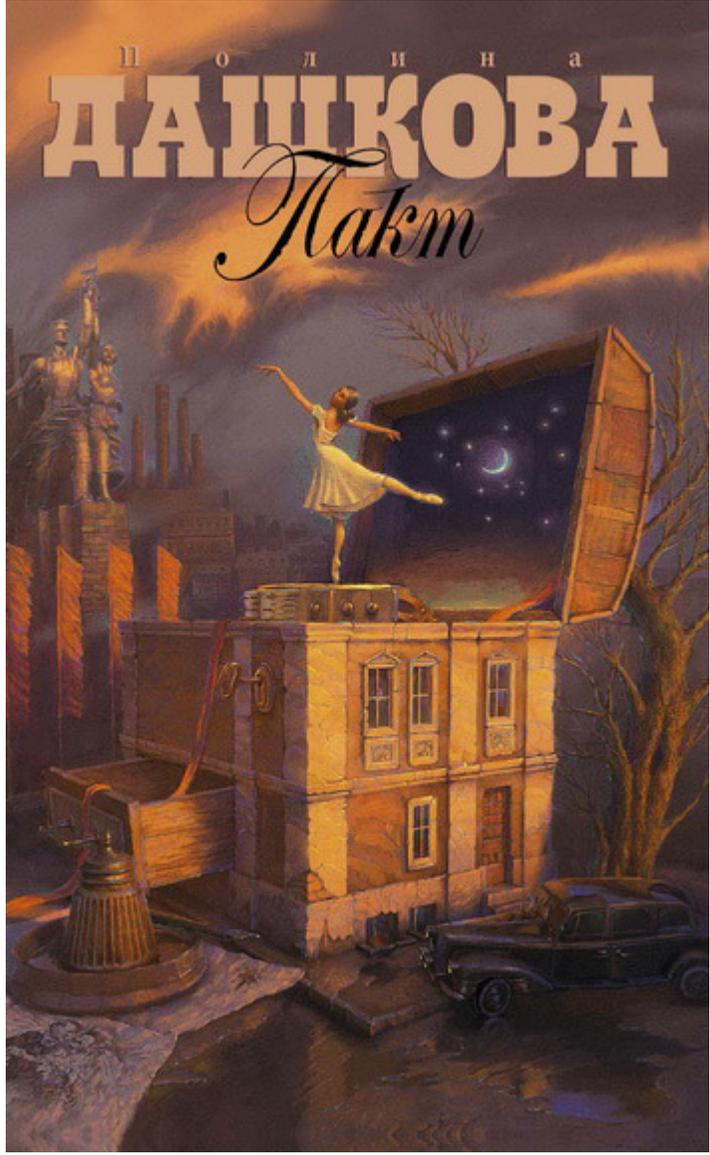
Хозяин мягко отстранил Авеля Сафроновича от переговоров с немцами, ни в чем не упрекнув старого доброго друга. Его ярость не закипала, она была холодной и твердой, она медленно кристаллизовалась, подобно соли в перенасыщенном растворе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



Примечания

1

Исторические материалы: сообщения в прессе, речи вождей, дипломатические документы, тексты разведсообщений и др., выделенные курсивом, реальны и приводятся дословно. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

[Вернуться](#)

2

Эрих Людендорф, генерал, в 1918-м начальник полевого генерального штаба, фактически Верховный главнокомандующий.

[Вернуться](#)

3

Психиатра, который таким образом вылечил ефрейтора Гитлера от истерической слепоты, звали Эдмунд Фостер. Он бесследно исчез в 1934-м. Все документы, касающиеся пребывания Гитлера в резервном лазарете в Пазельвалке осенью 1918-го, уничтожены гестапо.

[Вернуться](#)

4

Франс фон Папен, известный политик и дипломат, в 1932-м получил пост имперского канцлера.

[Вернуться](#)

5

Пауль фон Гинденбург, фельдмаршал, президент Веймарской республики с 1925-го по 1934-й.

[Вернуться](#)

6

Петерсон Рудольф Августович расстрелян в 1937-м.

[Вернуться](#)